



ЛУЧШЕЕ ВСЕГДА С НАМИ

ПОЛИНА ДАШКОВА

ЛЕГКИЕ ШАГИ БЕЗУМИЯ



Лучшее всегда с нами

Полина Дашкова

Легкие шаги безумия

«АСТ»

1997

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дашкова П. В.

Легкие шаги безумия / П. В. Дашкова — «АСТ»,
1997 — (Лучшее всегда с нами)

Маньяк-убийца задержан, осужден и казнен. Но почему прошлое снова вернулось чередой необъяснимых смертей? Что же произошло тогда: торжество правосудия или роковая судебная ошибка? Судьбы людей вновь переплелись в кровавом клубке событий.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Дашкова П. В., 1997
© АСТ, 1997

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	18
Глава 4	28
Глава 5	38
Глава 6	45
Глава 7	50
Глава 8	55
Глава 9	61
Глава 10	67
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Полина Дашкова

Легкие шаги безумия

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© П.В. Дашкова

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Глава 1

Москва, март 1996 года

Лена Полянская волокла коляску по глубокой мартовской слякоти и чувствовала себя волжским бурлаком. Колеса утопали в комкастом талом снегу, тротуар узкого переуллка был покрыт высокими затвердевшими сугробами, а по мостовой неслись машины, обдавая прохожих густой коричневой грязью.

Двухлетняя Лиза то и дело пыталась встать на сиденье коляски, ей хотелось идти ножками, она считала, что уже большая для коляски, к тому же вокруг было много интересного: воробы и вороны шумно дрались из-за мокрой хлебной корки, лохматый рыжий щенок гонялся за собственным хвостом, большой мальчик шел навстречу и грыз огромное ярко-красное яблоко.

– Мама, Лизе тоже надо яблоко, – важно сообщила девочка, вставая на ноги в очередной раз.

На ручке коляски висела большая сумка с продуктами, и, стоило Лене приподнять Лизу, чтобы как следует усадить на место, коляска тут же потеряла равновесие и опрокинулась.

– Все упало, – со вздохом констатировала Лиза, глядя с маминых рук, как сыплются в грязь продукты из порванной сумки.

– Да, Лизонька, все упало. Сейчас будем собирать. – Лена осторожно поставила дочь на тротуар, стала поднимать из слякоти и отряхивать перчаткой пакеты с продуктами и тут заметила, что из окна припаркованного на другой стороне переуллка темно-синего «вольво» за ней кто-то внимательно наблюдает. Стекла машины были затемненными, в них отчетливо отражались сугробы и прохожие, и Лена не видела, кто именно за ней наблюдает, но взгляд чувствовала.

– Конечно, забавное зрелище, – усмехнулась она, кое-как привязывая сумку к ручке коляски, усаживая Лизу и отряхивая испачканные кожаные перчатки.

Сворачивая во двор, она опять увидела темно-синий «вольво». Он проехал совсем близко на минимальной скорости, словно сидевшие в нем люди хотели зафиксировать, в какой именно подъезд вошла молодая мама с коляской.

Людей этих было двое – женщина за рулем и мужчина рядом, на переднем сиденье. Лена их, конечно, не видела, зато они ее видели отлично.

– Ты уверен? – тихо спросила женщина, когда за Леной закрылась дверь подъезда.

– Абсолютно, – кивнул мужчина, – она почти не изменилась за эти годы.

– Ей сейчас должно быть тридцать шесть, – заметила женщина, – а этой молодой мамаше не больше двадцати пяти. И ребенок такой маленький... Ты не перепутал? Все-таки столько лет прошло.

– Нет, – твердо ответил мужчина, – я не перепутал.

В пустой квартире заливался телефон.

– Ты можешь сейчас со мной поговорить? – Лена с трудом узнала голос своей близкой подруги, бывшей сокурсницы, Ольги Сеницыной – голос в трубке был каким-то чужим, хриловатым и очень тихим.

– Здравствуй, Олюша, что случилось? – Лена прижала трубку ухом к плечу и стала развешивать ленточки на Лизиной шапке.

– Митя умер, – проговорила Ольга совсем тихо.

Лене показалось, что она ослышалась.

– Прости, что ты сказала? – переспросила она, стягивая с Лизиних ног сапоги.

– Мама, Лизе надо а-а, – торжественно сообщила дочь.

– Олюша, ты дома сейчас? Я перезвоню тебе через пятнадцать минут. Я только что вошла, раздену Лизу, посажу на горшок и сразу перезвоню.

– Можно, я к тебе приеду прямо сейчас? – быстро спросила Ольга.

– Разумеется, можно!

Ольга и Лена были ровесницами – обеим по тридцать шесть. Митя Синицын, родной брат Ольги, был младше на два года. Отчего мог внезапно умереть совершенно здоровый, полный сил и планов на будущее тридцатичетырехлетний человек, не пьющий, не употребляющий наркотики, не связанный с криминальным миром?

До прихода Ольги Лена успела накормить обедом и уложить спать Лизу, вымыть посуду, сварить щи и запустить стиральную машину. Сегодня она планировала перевести хотя бы пять страниц из огромной статьи новомодного американского психолога Дэвида Кроуэла «Жестокость жертвы», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер» и посвященной новейшим исследованиям в психологии серийных убийц.

Несмотря на то что Лизе едва исполнилось два года, Лена работала очень много, продолжала заведовать отделом литературы и искусства все в том же журнале «Смарт». Главный редактор пошел ей навстречу, разрешил оставить только два присутственных дня в неделю. Львиную долю работы она просто брала домой и сидела за компьютером ночами. А в свои два присутственных дня оставляла ребенка на одинокую старушку соседку – ни у самой Лены, ни у ее мужа, Сергея Кротова, не было родителей. Лиза росла без бабушек и дедушек, а для интеллигентной пенсионерки Веры Федоровны провести день со спокойным, ласковым ребенком было только в радость. Да и деньги, которые ей за это платили Лена и Сергей, оказались нелишними при ее мизерной пенсии.

– И в ясли Лизоньку не вздумайте отдавать! – говорила Вера Федоровна. – Пока я на ногах, пока голова варит, буду с ней сидеть столько, сколько нужно.

Вера Федоровна из квартиры напротив была для Лены настоящей палочкой-выручалочкой. Дело не только в том, что зарплаты Сергея, полковника МВД, заместителя начальника криминального отдела в Управлении внутренней контрразведки, едва хватило бы на жизнь. Главное, сама Лена не могла существовать без работы. Она понимала – стоит немного расслабиться, и на ее место тут же возьмут другого человека.

Время у Лены было расписано по минутам, выматывалась она страшно, спала не больше пяти часов в сутки. Сейчас от драгоценных двух часов Лизино дневного сна остался всего час, то есть полноценные две страницы перевода. Но сесть за компьютер Лена даже не пыталась.

После Ольгиного звонка она могла думать только о Мите, представляла, что сейчас творится с родителями, с восьмидесятилетней бабушкой Зинаидой Лукиничной, которая, несмотря на свой солидный возраст, сохранила светлый ум и острое восприятие жизни... и смерти, разумеется, тоже.

Что же могло случиться с Митей? Несчастный случай? Машина сбила на улице? Кирпич на голову упал? Но кирпич, как известно, ни с того ни с сего на голову никому не падает.

Лена включила электрический чайник, насыпала кофейных зерен в кофемолку, и тут раздался звонок в дверь.

Ольга стояла на пороге в каком-то черном платке, вероятно бабушкином. Из-под платка беспорядочно выбивались лохматые ярко-золотистые пряди. С первого взгляда было заметно, что она не причесывалась, не умывалась, напялила на себя что под руку попало. Известие о Митиной смерти застало ее врасплох. Значит, несчастный случай?

– Он повесился, – тусклым голосом произнесла Ольга, снимая пальто, – он повесился сегодня ночью, у себя в квартире. Привязал брючный ремень к газовой трубе, которая проходит над кухонной дверью.

– А где в это время находилась его жена? – быстро спросила Лена.

– Спала. Спокойно спала в соседней комнате и ничего не слышала.

– Кто первый обнаружил? – Лена хотела сказать «труп», но запнулась – трудно было произнести это слово по отношению к Мите, который совсем недавно забежал к ней в гости, сидел вот здесь, на кухонном диване, весь искрился энергией, здоровьем и радужными планами на будущее.

– Жена обнаружила. Проснулась, вышла на кухню и увидела.

Лена вдруг обратила внимание, что в последнее время Ольга перестала называть жену своего брата по имени. А раньше величала Катюшей, Катенькой.

– И что было дальше? Ты хоть чаю глотни горячего. А хочешь, я тебе щей налью? Только что сварила.

– Нет, – Ольга отрицательно замотала головой, – нет, не могу я ничего есть. И пить не могу. Окошко приоткрой, покурим, пока Лизавета спит. Как было на самом деле, никто не видел, – Ольга нервно передернула плечами и глубоко затаилась, – все известно только с ее слов, а она ничего не помнит. Так вот, она сама вытащила Митю из петли...

– Подожди, – перебила Лена, – но ведь у Мити рост сто девяносто, и весит он порядочно, не худенький. А Катя, насколько я помню, девочка-дюймовочка, она его в два раза легче и ниже на три головы.

– Да, она говорит, это было очень трудно. Но она не могла оставить его так, надеялась, вдруг еще жив... Нет, ты не думай, я сейчас нормально соображаю. Я понимаю, в жизни бывает всякое, но вот так, ни с того ни с сего, даже записки никакой... А главное, Митя всегда считал, что самоубийство – страшный грех, искренне считал. Это, конечно, для милиции не довод, но Митюша крещеный, православный, к исповеди ходил, причащался. Редко, правда, но все-таки... А теперь я даже заочно отпеть его не могу, самоубийц не отпевают. Любой грех можно замолить – только не этот.

У Ольги были темные круги под глазами, рука с потухшей сигаретой мелко дрожала.

– Он забежал ко мне около месяца назад, – тихо сказала Лена, – у него было столько планов, рассказывал, что написал пять новых песен, вышел на какого-то известного продюсера, теперь, мол, у него пойдет один клип за другим... Я не очень хорошо помню, о чем мы говорили, но у меня осталось ощущение, что все у Мити отлично. Он был немного возбужден, но радостно возбужден. Может, рухнули какие-нибудь его надежды, связанные с этим продюсером?

– Эти надежды рождались и рушились у него по десять раз в месяц, – грустно усмехнулась Ольга, – он привык, относился к этому вполне спокойно. И всякие продюсеры, мелкие и крупные, без конца мелькали в его жизни. Нет, если уж говорить о том, что его действительно волновало, так это собственное творчество, не в смысле популярности и денег, а в смысле пишется – не пишется. В последний месяц ему писалось как никогда, и это для него было главным.

– То есть ты не исключает, что Митя не сам?.. – осторожно спросила Лена.

– Милиция уверяет, что сам. – Ольга закурила еще одну сигарету.

– Ты вообще ела сегодня что-нибудь? Ты куришь, как паровоз, на голодный желудок. Хочешь, я кофе сварю?

– Свари, – равнодушно кивнула Ольга, – и, если можно, я приму душ у тебя. Я ведь даже не умывалась сегодня и в морге успела побывать... Ты прости, что я с этим кошмаром к тебе заявила, но дома сейчас очень тяжело, мне надо немного опомниться, а потом уж родителей и бабушку приводить в чувство.

– Оставь эти расшаркивания для своих японцев. Пойдем, я дам тебе чистое полотенце.

– Лен, я не верю, что он сам, – тихо сказала Ольга, стоя на пороге ванной комнаты, – очень уж все это странно. Телефон у них весь день не работал. Я выяснила на станции – с линией там все в порядке. Что-то случилось с аппаратом, сосед сегодня утром починил за минуту. А «Скорую» и милицию жена от соседей вызывала в пять утра. Эти соседи мне и позвонили. Я приехала, а Митю уже увезли. Видишь ли, его жена этой ночью находилась в

состоянии... в общем, наркотиками накачалась. Мне сказали, Митя тоже. Сказали, чистый суицид на почве наркотического психоза. Ампулы и шприцы нашли в квартире, и на руке у него следы уколов... Так что милиция особо и не старалась, мол, наркоман был ваш братец, уважаемая Ольга Михайловна. И жена у него наркоманка. Все же ясно!

– Митя не был наркоманом, – медленно произнесла Лена, – он даже не пил. И Катя...

– Она кололась уже полтора года. А Митя – нет. Никогда.

– Ты видела его в морге?

– Нет. Я не смогла, испугалась, что не выдержу, хлопнусь в обморок, чего доброго. Он был уже в холодильнике. Там очередь на вскрытие, сказали, трупов очень много. Если я напишу заявление в прокуратуру, он так и будет там лежать – ждать своей очереди.

– И что ты решила?

– Не знаю. Но, если он там будет лежать, в холодильнике, у мамы с папой и у бабушки по инфаркту на брата случится. А от заявления, как мне успели объяснить, толку будет мало. Дадут это дело какой-нибудь девочке, которая московскую прописку отрабатывает в райпрокуратуре, у них ведь следователей не хватает. А она и копать ничего не станет, ясно ведь, суицид. Сейчас столько нераскрытых убийств висит годами, а тут – какой-то наркоман...

Ольга безнадежно махнула рукой и закрыла дверь ванной.

Пока она принимала душ и приводила себя в порядок, Лена стояла у окна с гудящей электрической кофемолкой в руках и думала о Мите Синицыне. О чем они говорили тогда? Он ведь просидел здесь часа два. Рассказывал, что написал пять новых песен, кажется, даже кассету оставил. Надо будет найти, послушать. Лена так и не удосужилась до сих пор...

Да, появился на его горизонте какой-то очередной суперпродюсер... Но фамилии Митя не назвал, сказал: «Жутко известный, ты не поверишь! И вообще, я боюсь сглазить!»

Потом он пообедал с аппетитом и о чем-то еще они долго говорили. Кажется, просто вспоминали что-то из юности, из студенческих лет.

Сам Митя закончил Институт культуры, учился на режиссера народных театров. Странная специальность, особенно в наше время. Впрочем, он никогда по специальности не работал, писал свои песни, пел их в узком кругу, в конце восьмидесятых даже какие-то концерты у него проходили по клубам, и вечно велись переговоры о пластинке, потом о компакт-диске, о клипе на телевидении.

Никогда эти переговоры ничем не кончались, но Митя не унывал. Он верил, что песни у него талантливые, просто не «попсовые». Но ведь спрос есть не только на «попсу». Митя не собирался лезть в звезды, но хотел пробиться к своему слушателю, причем не через концерты в подземных переходах, а более респектабельным и достойным путем – через радио, телевидение. Но для этого надо было не только хорошо сочинять и исполнять песни, но еще и обрести нужными знакомствами, связями, общаться с продюсерами, предлагать себя как выгодный товар. А этого Митя делать не умел.

Работал он в последнее время преподавателем игры на гитаре в детской театральной студии. Деньги были крошечные, зато дети его любили. Это было важно для Мити – своих детей они с Катей завести не могли. Но очень хотели.

Если предположить, что Митю все-таки убили таким изощренным способом, то сразу возникает вопрос: кому это понадобилось? Кому мог помешать человек, обучавший детей игре на классической гитаре и писавший песни?..

Надо обязательно найти и послушать кассету, только не сейчас, не при Ольге. Ей это может быть больно, она и так держится из последних сил, она очень любила своего младшего брата.

За окном сыпал мокрый снег. Глядя во двор, Лена машинально отметила, что Ольга не совсем удачно припарковала свой маленький серый «фольксваген» – трудно будет выезжать,

завязнет в сугробе. И также машинально взгляд ее скользнул по темно-синему «вольво», стоявшему в нескольких метрах от Ольгиной машины и уже слегка припорошенному снегом...

* * *

– Вот видишь, – тихо сказала женщина, сидевшая за рулем «вольво», своему спутнику, – я не сомневалась, они продолжают общаться, и довольно тесно. Настолько тесно, что после случившегося она помчалась не куда-нибудь, а сюда.

– Мне страшно, – прошелестел мужчина пересохшими губами.

– Ничего, – женщина ласково погладила его по щеке короткими холеными пальцами, – ты у меня молодец. Ты успокоишься и поймешь, что это – последний рывок, последнее усилие. А потом – все. Я знаю, как тебе сейчас страшно. Страх идет из самой глубины, поднимается от живота к груди. Но ты не дашь ему подняться выше, ты непустишь его в голову, в подсознание. У тебя много раз получалось останавливать этот густой, горячий, невыносимый страх. Ты очень сильный сейчас и станешь еще сильнее, когда мы сделаем это усилие – тяжелое, необходимое, но последнее. Я с тобой, и мы справимся.

Короткие крепкие пальцы медленно и нежно скользили по гладко выбритой щеке. Длинные ногти были покрыты матово-алым лаком. На фоне очень бледной щеки этот цвет казался неприятно ярким. Продолжая говорить тихие, баюкающие слова, женщина думала о том, что надо не забыть сегодня вечером стереть этот лак и покрыть ногти чем-то более приглушенным и изысканным.

Мужчина закрыл глаза, ноздри его медленно и ритмично раздувались. Он дышал глубоко и спокойно. Когда женщина почувствовала, что мышцы его лица совсем расслабились, она завела мотор, и темно-синий «вольво» не спеша покинул магистраль и затерялся в толпе разноцветных машин, несущихся под медленным мокрым снегом.

* * *

В университете, на журфаке, Ольга Сеницына была лучшей подругой Лены Полянской, с первого по пятый курс. Потом на какое-то время они потеряли друг друга и встретились только через восемь лет после окончания университета, совершенно случайно, в самолете.

Лена летела в Нью-Йорк. Колумбийский университет пригласил ее прочитать курс лекций о современной русской литературе и журналистике. В отсеке для курящих к ней под села элегантная, холеная бизнес-леди в строгом дорогом костюме.

Шел всего лишь 1990 год, такие деловые дамы в России были еще редкостью. Мельком взглянув на нее, Лена удивилась, почему богатая американка летит «Аэрофлотом», а не «Панамой» или «Дельтой». Но тут дама грустно покачала ярко-белокурой головой и произнесла по-русски:

– Ну ты даешь, Полянская! Я все жду, узнаешь или нет.

– Господи, Ольга! Олюша Сеницына! – обрадовалась Лена.

Казалось невероятным, что преуспевающая деловая дама вылупилась из эфемерного, возвышенного создания в джинсах и свитере; из типичной интеллигентной московской девочки конца семидесятых, которая могла ночь напролет вести жаркие кухонные споры о судьбе и жертвенной миссии России, о превратностях экзистенциального сознания, могла выстаивать многочасовые очереди, но не в ГУМе за сапогами, а в подвальный выставочный зал на Малой Грузинской или за билетами в консерваторию на концерт Рихтера.

Ольга Сеницына, известная на весь факультет журналистики своей рассеянностью, непрактичностью, бестолковыми роковыми романами, и эта холодноватая надменная дама,

сверкающая американской вежливой улыбкой, уверенная в себе и в своем благополучии, казались существами с разных планет.

– Получилось так, – рассказала Ольга, – что я осталась одна с двумя мальчишками-погодками. Я ведь вышла замуж за Гиви Киладзе. Помнишь его?

Гиви Киладзе учился с ними на журфаке и был беззаветно влюблен в Ольгу с первого по пятый курс. Московский грузин во втором поколении, он вспоминал родной язык только тогда, когда хотел кого-нибудь зарезать. А зарезать он хотел, как правило, либо Ольгу, либо того, кто смел подойти к ней ближе, чем на три метра.

– Понимаешь, страсть-то кончилась быстро. Начался тухлый, полуголодный быт. Гиви не мог устроиться на работу, стал пить, притаскивал в дом толпы каких-то бродяг, после которых исчезали полотенца и чайные ложки. Всех надо было кормить, укладывать спать. У него душа широкая, а я – с пузом, с токсикозом... Когда Глебушка родился, он выписал свою двоюродную бабушку с гор, как бы помогать мне с ребенком. За бабушкой из горного села приехал дедушка, потом дядя, тетя. В конце концов я взяла Глеба и сбежала к родителям. Тут начался театр, вернее, драмкружок: «Себя убью, тебя убью!..» В общем, помирились. Я тогда твердо верила, что ребенку нужен отец, пусть даже сумасшедший, но родной.

Глеб у меня черноволосый, черноглазый, а младший, Гошенька, родился белокурый, глазки голубые... Этот идиот чего-то там подсчитал и стал вопить, мол, Гоша – не его сын. Знаешь, чем я занялась, чтобы не свихнуться? Стала учить японский язык! Вот и представь картинку: кормящая мамаша с младенцем у груди громко читает иероглифы, папаша бежит с выпученными глазами, с фамильным кинжалом, кричит: «Зарежу!» – а Глеб двух с половиной лет сидит на горшке и говорит по-грузински: «Папа, не убивай маму, она хорошая!» – это его бабушки-дедушки с гор успели научить немного.

А в доме между тем ни копейки. Жили на то, что давали родители, много они дать не могли, от себя последнее отрывали. Да еще посылки приходили с гор, домашнее вино, инжир, орехи. В общем, я опять ушла к родителям, взяла детей – и ушла. Окончательно. Так Гиви появился среди ночи, пьяный в дым. Хорошо, у нас тогда Митя ночевал, успел вмешаться. А то убил бы, глазом не моргнул. Ревновал ведь, придурок, даже к родному брату.

– Ты бы хоть позвонила, – вздохнула Лена, – что же ты исчезла совсем?

– А ты? – Ольга усмехнулась. – Ты чего исчезла?

– Да так как-то, – пожала плечами Лена, – у меня свой скелет в шкафу... А ты японский все-таки выучила?

– Выучила, еще как! Знаешь, я даже благодарна Гиви. Если бы он меня до иероглифов не довел, не была бы я сейчас менеджером российского филиала замечательной компании «Кокусай-Коеки». Я туда сначала пришла переводчиком, о компьютерах и всякой оргтехнике, которой они торгуют, ни малейшего представления не имела. Но надо было детей кормить, и маму с папой, и бабушку, и Митьку. Братик у меня – тот еще обалдуй – все песни свои сочиняет и поет под гитару, и, кроме этого, ну ничего делать не желает, все ждет мировой славы. Но кушать и ему хочется.

И пришлось мне зарабатывать деньги. Оказалось, у меня неплохо получается. Я так втянулась, что довольно скоро стала зарабатывать очень много. С детьми сидели мама с бабушкой, а я карьеру делала. Скоро буду старшим менеджером, потом заместителем коммерческого директора, потом – суп с котом... Сейчас лечу на переговоры, американцев уламывать. Знаешь, все отлично, денег кучу зарабатываю, а иногда смотрю в зеркало – чужая какая-то тетка. Ты помнишь, какие я стихи писала? А курсовую мою по Кафке помнишь? Вот тогда я головой работала, а теперь... Нет, теперь, конечно, тоже головой, но бывает ощущение, что в черепушке у меня вместо мозгов сидит такой умный дурак-компьютер и выдает решения.

– Ладно тебе, Синицына, – засмеялась Лена. – Все у тебя отлично, и не вроде, а на самом деле. И Кафка, и стихи – все осталось, никуда не делось, просто юность прошла. Всему свое время.

– А у тебя вот не прошла юность, – заметила Ольга, вглядываясь в Ленины большие дымчато-серые глаза, в худенькое личико без всякой косметики, – ты, Полянская, какой была на первом курсе, такой и осталась.

– Ну уж! – покачала темно-русой головой Лена. – Я просто худая, поэтому кажусь моложе. К тому же при моей работе деловые костюмы и строгий макияж вовсе не обязательны. Я ведь так и занимаюсь журналистикой, могу себе позволить все те же джинсы и свитера. А тебя положение обязывает, ты у нас бизнес-леди.

После той встречи в самолете прошло шесть лет. Ольга успела стать заместителем коммерческого директора российского филиала фирмы «Кокусай-Коеки». Лена работала заведующей отделом литературы и искусства в совместном российско-американском журнале «Смарт», два года назад она вышла замуж и родила дочь Лизу. А Ольга Синицына замуж больше не вышла, первого опыта семейной жизни ей хватило по горло. Те крохи свободного времени, которые оставались от работы, она отдавала сыновьям и младшему брату.

В течение этих шести лет Лена и Ольга больше не терялись, перезванивались и встречались довольно часто. Каждая понимала: чем старше становишься – тем труднее заводить новых друзей. Надо дорожить старыми. Обязательно должен быть человек, которому можно позвонить в любое время дня и ночи – и он будет рад твоему звонку, он помнит тебя юной, легкомысленной, незащищенной. Общаясь с ним, ты можешь опять себя такой почувствовать – хотя бы на несколько минут.

Глава 2

Тобольск, сентябрь 1981 года

Он любил вспоминать свое детство. Каждый раз он извлекал со дна памяти какой-нибудь особенно тяжелый, болезненный эпизод и начинал воспроизводить его мысленно во всех подробностях. Чем мучительней были подробности, тем больше он застревал на них.

Он рос тихим, послушным мальчиком. Мать следила за каждым его шагом, за каждым вздохом.

– Ты – внук легендарного красного командира, – повторяла она, – ты должен быть достоин своего великого деда.

Маленький мальчик плохо понимал, что значит – быть достойным деда. Суровый широколицый мужчина со светлыми усами, в кожанке, перетянутой портупеей, глядел на него с бесчисленных портретов, больших и маленьких, развешанных по всей квартире. В доме на стенах больше ничего не висело – ни картин, ни календарей, только портреты легендарного деда. Да еще на письменном столе матери стояли небольшие бронзовые бюстики двух великих вождей – Ленина и Сталина. Вытирая пыль с холодных маленьких лиц, надраивая зубным порошком бронзовые глаза и усы, Веня Волков всегда очень старался. Уборка в квартире была его обязанностью с семилетнего возраста, и мать очень тщательно проверяла качество работы.

Однажды, заметив под глазом Иосифа Виссарионовича белое пятно – остатки нестертого зубного порошка, она отхлестала сына по щекам. Ему тогда было десять.

Наказанию он не удивился, счел его вполне заслуженным. Но его впервые поразило совершенно спокойное, безразличное лицо матери. Методично отвешивая сыну звонкие оплеухи, она пристально смотрела ему в глаза и повторяла:

– Нет ничего случайного в жизни. За небрежностью стоит умысел. Небрежность всегда преступна.

Многие его одноклассники бывали биты своими родителями, но в основном били отцы – по пьяни, с похмелья или просто попадался пацан под горячую руку. Отцы били по заднице ладонью либо ремнем. А матери, как правило, заступались.

Веню Волкова била мать, причем всегда – по щекам, ладонью, совсем не больно. Только щеки потом горели. Никогда она не делала этого спяну или сгоряча. Она вообще не пила, была всегда трезвой, ровной и спокойной. Отец не заступался. Он был такой тихий и незаметный, словно и вовсе его не было. Он работал инженером на хлебозаводе, пропадал там целыми днями, а иногда и ночами. Мать никогда не была при нем, не потому, что боялась, просто так получалось, отец редко бывал дома. А сын отцу ничего не рассказывал.

Он вообще никогда ничего никому не рассказывал.

Все отцовское воспитание сводилось к тому, что, общаясь с сыном, он без конца повторял:

– Твоя мама – самый чистый, самый принципиальный человек на свете. Она – святая. Все, что она делает, – это для твоей пользы. Ты должен гордиться своей матерью и слушаться ее во всем.

Мать была освобожденным секретарем партийной организации на том же хлебозаводе. Ее постоянно избирали депутатом горсовета, фотография ее красовалась на центральной площади, на Доске почета «Лучшие люди города».

Он слушался, но не гордился. Человек, которого не реже двух раз в неделю хлещут по щекам, вряд ли может чем-либо или кем-либо гордиться.

Сейчас, сидя в своем маленьком прокуренном кабинете, заведующий отделом культуры Тобольского горкома ВЛКСМ Вениамин Волков, двадцатишестилетний, светловолосый, высо-

кий и худой мужчина, глядел в разложенные перед ним на столе бумаги и в который раз прокручивал в голове одну из самых болезненных сцен своего детства.

...Стоял ледяной сибирский февраль, с пронзительными, колючими ветрами. Восьмиклассник Веня забыл дома физкультурную форму и помчался на большой перемене домой.

Веня летел сквозь пургу. Он боялся опоздать на физкультуру, учитель непременно написал бы замечание в дневник.

Отец был дома, болел гриппом, лежал с высокой температурой, с компрессом на лбу. Думая, что он спит, Веня тихонько открыл дверь своим ключом и тут же застыл на пороге.

Из комнаты родителей доносились странные звуки – ритмичный скрип панцирного матраца сопровождался тихими, сдавленными стонами, мужскими и женскими.

Веня подошел на цыпочках и заглянул в приоткрытую дверь. На смятой родительской постели извивались два обнаженных тела. Одно принадлежало его отцу, другое – молоденькой соседке Ларочке, двадцатилетней студентке библиотечного техникума. Веня слышал, она тоже болела гриппом, сидела дома...

Эта Ларочка из квартиры напротив, маленькая пухленькая брюнеточка, со вздернутым носиком и веселыми ямочками на щеках, давно вызывала в Вениной душе странное, острое чувство, понять и определить которое он никак не мог. Он встречал девушку каждый день. Они в одно время выходили из дома, он в школу, она в техникум. Легко сбегая по скрипучей деревянной лестнице, она мимоходом ласково трепала мальчика по щеке.

От нее пахло сладкими дешевыми духами, ее круглый, крашенный яркой помадой ротик был всегда чуть приоткрыт, будто готов к радостной, праздничной улыбке. Влажно поблескивали крупные белоснежные зубы, два передних были чуть длиннее остальных, и это делало круглое личико забавным и трогательным.

Веня стоял и смотрел на два тела, ритмично подпрыгивающих на кровати. Он видел их лица, на которых написано было мучительное блаженство, видел закрытые глаза, чуть оскаленные рты.

Он не сразу понял, чем они занимаются. Сначала эти ритмичные подпрыгивания вызвали в памяти другую картинку – двух совокупляющихся дворняжек у помойки за школой. И только потом он понял, что его отец и хорошенькая соседка заняты тем же самым.

Все матерные слова, все таинственные, жгуче-запретные разговоры в школьном туалете, все анатомические рисунки на заборах и стенах были об этом. Ради этого ярко красила губы и душилась сладкими духами пухленькая соседка, и то же самое делали миллионы женщин на земле, об этом – фильмы, книги, даже музыка. Герои из-за своей любви страдают, интригуют, стреляются, сходят с ума. И ради чего? Ради таких вот безобразных ритмичных подергиваний, ради этой вот мерзости?

И дети рождаются – тоже от этого, только от этого...

Но самым мерзким было внезапное напряжение в паху. Жаркая, чуть покалывающая боль заполнила низ живота, Веня напрягся как струна. А через минуту он почувствовал на своих трусах и брюках влажное, липкое пятно.

Он опомнился от отвращения к самому себе. Двое на кровати были заняты своим делом и его не замечали. Все это продолжалось не больше пяти минут, но Вене показалось – прошла вечность.

Стараясь не дышать, он ринулся к своей комнате, быстро и бесшумно переоделся, аккуратно свернул свои замаранные брюки и трусы, запихнул их под подушку.

Через пятнадцать минут он уже был в раздевалке школьного физкультурного зала. Форму он не забыл и опоздал совсем немного – звонок уже прозвенел, но одноклассники еще переодевались к уроку физкультуры.

...Заведующий отделом культуры Тобольского горкома ВЛКСМ оторвал свои светлые, прозрачные глаза от бумаг, разложенных на столе, и взглянул в окно. День был ясный, солнеч-

ный. Тронутые яркой желтизной листья березы слегка касались оконного стекла, чуть подрагивали на теплом ветру. Береза росла прямо под окном, она была очень старой. Толстый шершавый ствол почернел, словно обуглился.

В городе Тобольске было много деревьев, и большинство домов были деревянными, и заборы строили из толстых нетесаных бревен. Леса не жалели – тайга кругом. Городской парк был густым, почти как тайга. Он начинался на берегу Тобола, уходя вдаль, становился почти дремучим. Днем – ни души, вечером – ни одного фонаря.

– Вениамин, ты обедать пойдешь? – заглянув в кабинет, спросила инструктор соседнего отдела Галя Малышева, молодая, но очень полная, с тяжелой одышкой.

Он вздрогнул, будто застигнутый врасплох.

– А?.. Обедать?.. Нет, я попозже.

– Все работаешь, деловой ты наш, – усмехнулась Галя, – смотри, отощaeшь, никто замуж не возьмет. – Звонко рассмеявшись собственной шутке, она прикрыла дверь кабинета снаружи, и он услышал, как ее тяжелые шаги в туфлях на «платформе» удаляются по коридору.

«Действительно, надо пойти пообедать», – подумал он и попытался вспомнить, когда он ел в последний раз. Вероятно, вчера утром. Кусок уже тогда не лез в горло, он ел через силу. Он знал, что в ближайшие дни если и заставит себя проглотить какую-нибудь пищу, то это будет стоить ему колоссальных усилий. Но иначе он упадет в обморок от голода. И от бессонницы.

В последнее время приступы участились. Раньше они случались раз в году и длились не больше двух дней. Теперь это повторялось каждые три месяца и длилось почти неделю. Он знал – дальше будет хуже.

Сначала накатывала тупая, безысходная тоска. Он старался бороться, придумывал себе разные дела и развлечения, читал, ходил в кино. Все было бесполезно. Тоска переходила в отчаяние, к горлу подступала острая жалость к себе, маленькому послушному мальчику, которого никто не любит...

Раньше он приглушал отчаяние несколькими яркими картинками прошлого. Он знал – корень его болезни там, в темном, ледяном отрочестве. Там же и лекарство.

Пятнадцатилетний Веня никому не рассказал о том, что увидел у себя дома, на родительской кровати. Но после того метельного февральского дня он стал иначе смотреть на своих родителей и на себя самого. Теперь он точно знал, что все врут.

Ему и прежде до отца дела не было, он привык воспринимать его как бесплатное и бессмысленное приложение к сильной, властной и всеми уважаемой матери. Но теперь растаяло как дым оправдание материнской жестокости.

Оно часто звучало из уст отца: «Мама знает, как лучше. Мама тебя очень любит и делает все для твоей пользы». И сам Веня повторял как заклинание: «Это для моей пользы, чтобы я вырос сильным...»

Мать ни разу не пожалела сына, даже когда он болел, когда разбивал локти и коленки. «Жалость унижает человека!» Она ни разу в жизни не поцеловала его и не погладила по голове. Она хотела, чтобы ее сын, внук легендарного красного командира, рос сильным, без всяких там сантиментов и телячьих нежностей. Но теперь Веня знал – на самом деле она просто его не любит.

Он понял: мать отвечает ему пощечины, устраивает недельные бойкоты, говорит своим спокойным ледяным голосом невыносимые для ребенка слова только потому, что ей нравится быть главной, нравится унижать и мучить того, кто слаб и беззащитен перед ней.

Но теперь он знал важную взрослую тайну, которая касалась матери, причем не как партийного руководителя, не как кристальной коммунистки, а как обычной женщины, не очень молодой, не очень привлекательной. Не поможет никакой партком, никакая общественность. Здесь она беззащитна.

Теперь он мог в любой момент сделать ей больно. А в том, что ей будет больно узнать о своем муже и молоденькой соседке, Веня не сомневался.

Но он молчал. Он бережно, трепетно нес в себе эту стыдную взрослую тайну. С особым, мстительным удовольствием наблюдал он, как молоденькая соседка почтительно здоровается с его уважаемой мамой, как та по своей партийной привычке пожимает мягкую ручку пухленькой соперницы, даже не подозревая, что это соперница, причем счастливая.

Тайна распирала его изнутри, но он понимал – это оружие одноразового действия. Скажи он один раз матери, и тайны уже не будет. Но сказать так хотелось – пусть не матери, но хотя бы кому-то одному из троих, связанных этой тайной накрепко. Хотелось потешиться чужим взрослым испугом.

Однажды он не выдержал. Встретив соседку на лестнице, он тихо и внятно произнес ей в лицо:

– Я все знаю. Я видел отца и тебя.

– Что ты знаешь, Венечка? – вскинула тонкие бровки соседка.

– Я видел вас в постели, как вы... – Он хотел произнести известное матерное слово, но не решился.

Нежное личико немного вытянулось. Но того эффекта, которого Веня ожидал, не получилось. Она, конечно, испугалась, но не слишком.

– Я все скажу матери, – добавил он.

– Не надо, Венечка, – тихо попросила девушка, – никому от этого не станет легче.

В ее круглых карих глазах он вдруг с удивлением обнаружил жалость. Она глядела на него с состраданием. Это было так неожиданно, что Веня растерялся. Она его жалеет, а не боится.

– Знаешь что, – предложила девушка, – давай с тобой спокойно все обсудим. Я попробую тебе объяснить. Это трудно, но я попробую.

– Хорошо, – кивнул он, – попробуй.

– Но только не здесь, не на лестнице, – спохватилась она, – хочешь, погуляем немного, дойдем до парка. Смотри, какая погода хорошая.

Погода действительно была замечательная. Стояли теплые майские сумерки.

– Понимаешь, Венечка, – говорила она, пока они шли к парку, – твой отец – очень хороший человек. И мать хорошая. Но она для него слишком сильная, слишком жесткая. А каждый мужчина сам хочет быть сильным, поэтому ты отца не суди. Ты ведь умный, Венечка. Всякое в жизни бывает. Если ты боишься, что я разрушу вашу семью, то я не претендую на это. Я просто очень люблю твоего отца.

Она говорила, Веня молча слушал. Он пока не мог разобраться, что творится сейчас в его душе. От сладкого запаха духов кружилась голова. На сливочно-белой Ларочкиной шее быстро пульсировала голубоватая жилка.

– Если ты скажешь матери, она не простит. Ни его, ни меня. Она просто не умеет прощать, поэтому тебе и отцу так тяжело с ней. А ты, Венечка, должен учиться прощать. Без этого жить нельзя. Я понимаю, в твоём возрасте очень трудно...

Вокруг не было ни души. Ларочка говорила так горячо и вдохновенно, что не глядела под ноги. Из земли торчали толстые корни старых деревьев. Споткнувшись, девушка упала, растянулась на траве. Клетчатая шерстяная юбка задралась, обнажив края капроновых чулок, розовые резинки подвязок, нежную сливочно-белую кожу.

Не дав ей подняться, Веня обрушился на нее всей своей сильной, жадной пятнадцатилетней плотью. Он стал делать с ней то, о чем смачно и подробно рассказывали одноклассники, что видел он сам дома, метельным февральским днем, на родительской койке.

Ларочка закричала, но он успел зажать ей ладонью рот и нос. Она брыкалась, извивалась под ним, она начала задыхаться. Не давая ей не только кричать, но и дышать, он умудрился перевернуть ее на спину, разжать коленом ее бедра, стиснутые до дрожи.

Она сопротивлялась изо всех сил, но Веня был крупным подростком, он был на голову выше своей пухленькой, маленькой жертвы. Недаром он имел пятерку по физкультуре, недаром был чемпионом школы по акробатике, мог отжаться на турнике пятьдесят раз без передышки и досрочно сдал нормативы ГТО.

Он даже удивился, как легко и быстро все у него получилось. Поднявшись и застегнув пуговицы ширинки, он взглянул на распластанное, словно растоптанное на траве тело. В густеющих сумерках он разглядел красные следы своих пальцев на нежном круглом личике. На долю секунды мелькнула трусливая мысль – а вдруг она умерла? Но тут же, словно в ответ, он услышал слабый, жалобный стон.

– Не надо никому говорить, – спокойно произнес Веня, – никому от этого легче не будет. Ты должна учиться прощать, Ларочка. Без этого нельзя жить.

Развернувшись, он быстро зашагал прочь, домой.

Перед тем как лечь спать, он выстирал все, что было на нем надето, – брюки, фланелевую ковбойку, теплую трикотажную фуфайку и даже трусы. Ему казалось, что вещи пропитались запахом сладких дешевых духов.

Через несколько дней он услышал, что Ларочка бросила свой техникум, завербовалась на целину. Ее пожилые родители, соседи из квартиры напротив, тоже вскоре исчезли. Говорили, будто они переехали в другой город, чуть ли не в Целиноград. Но Веня к разговорам не прислушивался. Ему было все равно.

Глава 3

Москва, март 1996 года

Катя Синицына проснулась от долгого настырного звонка в дверь. Она обнаружила, что лежит на ковре в большой комнате, в старом драном халате, накинутом на голое тело.

– Митька! – громко позвала она. – Ты оглох, что ли? Дверь не можешь открыть?

Она встала, пошатываясь, побрела в прихожую. Звонок продолжал надрываться. Не зажигая света, не спрашивая, кто там, Катя распахнула входную дверь, которая оказалась незапертой.

– Чего трезвоните? Не видите, открыто? – недовольно спросила Катя мужчину, стоявшего на пороге.

Войдя в прихожую, заперев за собой дверь, мужчина щелкнул выключателем, взял в ладони Катину лицо и внимательно посмотрел в глаза.

– Катюша, деточка, тебе нельзя сейчас быть одной, – ласково сказал он, – умойся, оденься, поехали к нам.

Только тут Катя окончательно проснулась, уставилась на неожиданного гостя, узнала в нем своего свекра, Митькиного отца, Михаила Филипповича Синицына, и горько заплакала.

– Да, деточка, ты поплачь, – он погладил ее по стриженным рыжеватым волосам, – ты поплачь, станет легче. Оля совсем не может плакать, мама с бабушкой тоже, и я пока не могу. Все внутри горит огнем, жжет, но поплакать не получается.

– Я сейчас, – Катя высвободилась из-под его руки, шмыгнула носом и растерла кулаком слезы, – вы подождите, я сейчас оденусь. Вы здесь подождите. – Она указала на низкую скамеечку в прихожей, скользнула в комнату и захлопнула за собой дверь, прямо перед носом у Михаила Филипповича.

Он не обиделся. В прихожей так в прихожей. Разве можно требовать от бедной девочки вежливости после того, что ей пришлось пережить? Видно ведь – она в ужасном состоянии. Все в ужасном состоянии, разве можно обращать внимание на такие мелочи?

Михаил Филиппович изо всех сил старался не думать о сыне. Случившееся казалось каким-то нелепым, невозможным кошмаром. Он еще не видел сына мертвым, он гнал от себя мысль об этом, короткая фраза «Митя повесился» казалась ему диким розыгрышем, чьей-то злой и неумной шуткой.

Он поехал за Катей потому, что не мог найти себе места, не знал, как быть теперь, чем занять пустой кусок времени до похорон. К тому же девочку было действительно очень жалко. Она ведь почти сирота, хрупкое, незащищенное существо. Некому о ней подумать – Ольга взяла на себя всю суету с кремацией, с оформлением документов, жена и теща бродят по дому как тени, занимаются генеральной уборкой, поминки ведь решили устраивать не здесь, в Выхине, а у них. Внуки в гимназии с утра до вечера.

Кремация, поминки – о ком это все? Неужели о Митюше, о сыне, о красивом, талантливом, добром мальчике? И ведь как получилось – даже в храме отпеть нельзя, ни один священник не станет отпевать самоубийцу.

Нет больше Митюши, убил он сам себя – зачем? За что он сделал это с собой и с ними со всеми? Чем они провинились перед ним – родители, сестра, жена Катя?

Михаил Филиппович считал, что сына своего знает и чувствует достаточно хорошо. Митя с раннего детства был открытым, чистым, искренним мальчиком. Не было в нем тех тайных подтекстов, душевных черных дыр, которые могли бы хоть как-то объяснить этот дикий поступок.

Натягивая джинсы и свитер, Катя размышляла о том, стоит ли уколиться сейчас, заранее, или лучше взять с собой несколько «колес» и принять потом, спрятавшись в ванной. В последнее время «колеса» почти не действовали. Кайфа не было, но отходняк становился мягче. На «колесах» можно было перетерпеть, перебиться до следующего укола. По большому счету, ей сейчас все равно, она могла бы и там, у них, кольнуться, даже не прячась в ванной. Какая теперь разница? Рано или поздно они все равно узнают. Менты скажут или еще кто-нибудь. Ольга, конечно, будет молчать... Но какой теперь смысл скрывать? Если Мити больше нет, разве так важно, что жена его была наркоманкой? Катя даже не заметила, что теперь думает о самой себе в прошедшем времени, будто ее тоже больше нет.

Она вспомнила, как полгода назад сестра мужа нагрязнула неожиданно-негаданно, без предупреждения. Митя уехал на несколько дней куда-то, Кате тогда уже не важно было – куда. Он сказал, конечно, но она тут же забыла. Уехал – и ладно.

В квартире, разумеется, творилось черт знает что: грязь, бутылки по полу валяются, в раковине окурки плавают, музыка орет. А сама Катя ходит все в том же драном засаленном халате, накинутом на голое тело, под сильным кайфом.

Бутылки-то всего две было, «Привет» и «Абсолют», но обе пустые, и обе попались Ольге прямо под ноги. Катя как раз решила устроить себе одинокий праздник – три дня не вылезала из дома, кололась и пила, пила и кололась. При Митьке она не позволяла себе в то время так расслабляться, это потом ей уже стало совсем безразлично, а тогда она еще держалась при нем, старалась, чтобы он тешил себя надеждой, будто не совсем она на игле, а как бы частично (будто это возможно – частично). Но стоило ему уехать, она уж загудела в одиночестве...

И тут – здравствуйте! Ольга во всей красе, бизнес-леди, фурия в деловом костюме...

Она поволокла Катю в ванную, поставила под душ, воду включила ледяную, садистка. Потом заставила выпить две чашки крепкого кофе и только после этого начала разговаривать.

– Сколько это продолжается?

– Год, – честно призналась Катя.

– Чем ты колешься?

– Чем придется.

– Покажи ампулы.

Катя показала, но только пустые, надколотые. На них ничего написано не было, но Ольга аккуратно завернула их в полиэтиленовый пакет, а сверху еще в носовой платок и спрятала в сумку.

– Покупаешь, разумеется, у кого придется, на Арбате и в «трубе» на Пушкинской. Долги есть?

– Нет. Пока хватает, – заявила Катя почти с гордостью.

– Конечно, – кивнула Ольга, – я даю деньги Мите, ты берешь у него. Я работаю, оказываюсь, на твои наркотики. Ладно, об этом пока не будем. Таблетки?

Катя ушла в спальню и вернулась с пустой пачкой от галоперидола. Ольга тут же убрала ее в сумку.

– Завтра я повезу тебя к врачу. Ты ляжешь в больницу. Не бойся, в хорошую больницу, не в «дурку». Лечиться будешь столько, сколько нужно, пока не вылечишься окончательно.

– Окончательно нельзя, – осторожно заметила Катя, – так не бывает.

– Бывает. Пока ты все-таки занимаешься этим в одиночестве, под забором не валяешься, СПИД не подцепила. Или уже?

– Оль, ну ладно тебе! У меня все-таки еще не совсем крыша поехала.

– Ну, положим, крыша твоя уже давно в пути. Ладно, речь вообще не о тебе, а о Мите.

– Оль, я его правда очень люблю, я старалась завязать, пока могла.

– Да, любишь... Господи, если бы я застала у тебя мужика, мне было бы легче, честное слово!

– Нет, я ему не изменяю! – обиделась Катя. – Мне, кроме него, никто не нужен. Я все время только о Митюше и думаю, последней дрянью себя чувствую, и перед тобой мне жутко стыдно. Ты прости меня, Оль, ладно?

– О твоих чувствах и мыслях, а также о прощении мы с тобой как-нибудь после поговорим. А пока запомни: ни родители, ни тем паче бабушка и мои сыновья знать ничего не должны. В больницу ты ложишься по своим женским делам, – Ольга горько усмехнулась, – последняя надежда вылечить твоё бесплодие. В общем, это вранье я беру на себя. А сейчас ты приводишь в порядок свой свинарник, и чтобы к завтрашнему дню была готова. Я приеду за тобой. Ты поняла?

Катя все поняла, и в больнице честно пролежала почти два месяца. Больница действительно была классная, палата отдельная, телевизор, кормежка на убой, врачи и сестры вежливые, внимательные. Но лечили там все теми же методами, о которых Катя уже давно знала, – мучительными и малоэффективными. Она и не сомневалась – ничего нового пока не придумали.

Катя опять сорвалась, буквально через две недели после выписки из больницы. Так получилось. Отыскала дома, в тайничке, старые запасы и тут же поняла, что Ольгины денежки, выложенные за гуманное лечение, пропали зря.

Почему-то сейчас разговор с Ольгой, после которого уже прошло полгода, помнился куда отчетливей, чем то, что произошло сегодня ночью и ранним темным утром.

Сегодняшние события распались на какие-то мутные, зыбкие куски, мелькали перед глазами, словно обрывки старой испорченной киноплёнки: босые Митькины ноги над кухонным полом, ещё теплое, огромное, такое тяжелое и одновременно податливое его тело, тупые ножницы, которые никак не хотят резать толстую кожу брючного ремня. И ещё – холод. Она проснулась именно от холода. Одеяло упало, окно оказалось распахнутым. А ночь была очень холодная.

Катя вовсе не удивилась, что сорвался шпингалет оконной рамы в спальне. Он давно висел на одном винте, Митя все собирался починить – нехорошо, когда живешь на первом этаже, а окно плохо закрывается. Впрочем, Кате это было по фигу, воровать у них все равно нечего.

Ранним утром окно хлопнуло и распахнулось от резкого порыва ледяного ветра. Катя проснулась, сначала прикрыла окно, потом обнаружила, что Мити нет рядом, позвала его, но никто не откликнулся. Стуча зубами от холода, она вышла в прихожую и увидела в дверном проеме кухни... Нет, лучше не вспоминать.

Телефон почему-то не работал, сонная испуганная соседка в бигуди и ночной рубашке не могла сразу сообразить, в чем дело и почему Катя просит разрешения позвонить по их телефону в пять часов утра.

Потом были врачи, милиция, вопросы, на которые так трудно отвечать, стыдно, страшно, мысли путаются, язык заплетается... А ментам тоже неохота возиться, суицид он и есть суицид. Врач «Скорой» задрал рукав Катиного драного халата, хмыкнул и ничего не сказал. Она пыталась объяснить, что Митя никогда не кололся, но ее не слышали и не понимали.

А Михаил Филиппович все ждал в прихожей. И что это она в комнату его не пустила? Инстинкт сработал, страх перед Ольгой – «родители ничего не должны знать...»

Из комнаты Катя вышла в более или менее приличном состоянии. Колоться она не стала, взяла с собой и «колеса», и пару ампул со шприцем бросила в сумку.

Конечно, надо было бы и умыться, и причесаться, и зубы почистить. Да ладно, и так сойдет. Теперь уж все равно.

* * *

Бежевый «жигуленок» полковника МВД Сергея Кротова уже минут сорок стоял в безнадежной пробке на Садовом кольце. Мокрый снег, лениво сыпавший с раннего вечера, к ночи превратился в настоящую метель. Машин в этот час было совсем немного, но где-то впереди, у Маяковки, случилась авария, никаких поворотов поблизости не было, и теперь целое стадо автомобилей нетерпеливо гудело, ожидая, пока гаишники разберутся с ДТП.

Тепло салона и ритмичное движение «дворников» по лобовому стеклу убаюкивали. Глаза слипались. В последние несколько суток Сергею приходилось спать совсем мало. Через два дня ему предстояло отправиться в Англию. Скотленд-Ярд пригласил группу сотрудников МВД на три недели для обмена опытом. До отъезда надо было переделать такую гору дел, что голова шла кругом.

Позавчера утром он передал в прокуратуру материалы по предварительному расследованию дела о перестрелке в подмосковном ресторане «Витязь». Речь шла об обычной бандитской разборке, но из семи убитых двое оказались сотрудниками МВД. Именно поэтому дело сразу свалили на внутреннюю контрразведку и непосредственно на отдел, которым руководил Кротов.

Десять дней назад в «Витязе» проходил роскошный банкет. Знаменитый вор в законе по кличке Дрозд, в миру Дроздов Павел Анатольевич, праздновал свое сорокапятилетие. В честь знаменательного события ресторан был закрыт еще за два дня до банкета, люди Дроздова проверяли каждую щель обеденного и банкетного залов, бара, кухни, подсобок, сортиров, директорского кабинета. Был вызван специалист по организации охраны, который составил схему размещения людей вокруг и внутри здания, помпезной избы в деревянных кружевах.

Гости собрались, но успели съесть лишь холодные закуски и произнести не более трех тостов за здоровье драгоценного именинника, когда в банкетный зал ворвались вооруженные автоматами молодчики-отморозки. Не помогла тщательно и профессионально расставленная охрана. Не все гости юбиляра успели вовремя повытаскивать свои пушки, пятеро легли тут же, и первым был убит сам Дрозд, а вслед за ним – два сотрудника МВД.

Пикантность состояла в том, что сотрудники эти, майор и старший лейтенант, были на юбилее в качестве дорогих званных гостей, и факт их нежной дружбы с вором в законе Дроздом открылся лишь после их безвременной кончины.

Была и еще одна пикантность: свидетелем побоища оказался известный эстрадный певец, автор и исполнитель лирических, ностальгических и блатных песен Юрий Азаров. В ресторан он был приглашен для развлечения уважаемой публики. Друзья увидели однажды, как Дрозд рыдал, слушая запись одного из азаровских шлягеров – «Прощай, моя неверная любовь!», и решили сделать юбиляру такой трогательный подарок.

В тот момент, когда молодые отморозки ворвались в зал со своими автоматами и стали крошить солидных добропорядочных уголовников старой формации, Юрий как раз стоял на небольшой эстраде с гитарой и пел второй куплет любимого дроздовского шлягера:

Печаль моя последняя, молчи!
Прощай, зеленоглазая Светлана.
А мне в СИЗО, в лефортовской ночи,
Уже мигают звезды Магадана.

Он успел спрыгнуть с эстрады на пол, прикрывшись гитарой, закатиться под стол и пролежал там не дыша, пока шла пальба.

Хотя поп-звезде уже не раз приходилось выступать перед богатой уголовной публикой, такая бойня у него на глазах случилась впервые. Он считал чудом, что остался жив, трясся от ужаса, и выбивать из него свидетельские показания оказалось делом мучительно трудным. Любимец публики требовал приставить к нему охрану, посадить в бункер и срочно провести через парламент закон о защите свидетелей, который существует во всех нормальных странах.

Дело раскрыли быстро, по горячим следам, и позавчера Кротов с чистой душой передал все материалы в прокуратуру. Трое из пятерых оставшихся в живых отморозков сидели в СИЗО. История нравственного падения убитых сотрудников милиции была распутана. Она оказалась банальной и простой. Их держал Дрозд не в качестве цепных псов, но лишь как ласковых услужливых болонок – не шантажом, не страхом, только денежными подачками и сытными обедами с барского стола.

А сегодня утром выяснилось, что страхи певца были не напрасны: Азарова нашли мертвым в квартире его любовницы, двадцатилетней фотомодели Вероники Роговец.

В девять часов утра Вероника отправилась гулять со своей собакой, ирландским сеттером Вилли. Азаров в это время сладко спал в Вероникиной постели. Утреннюю прогулку с собакой фотомодель обычно сочетала с обязательной получасовой пробежкой по парку Победы.

Вернувшись домой в девять тридцать пять, она обнаружила, что дверь квартиры не заперта. Юрий лежал на полу поперек прихожей, в махровом халате, накинутом на голое тело. Череп певца был аккуратно прострелен, пистолет системы «вальтер», из коего был произведен этот единственный смертельный выстрел, валялся тут же, рядом с трупом. Никаких отпечатков, кроме тех, что принадлежали хозяйке квартиры и самому убитому, обнаружено не было. Соседи слышали слабый хлопок, но не придали ему никакого значения, не могли даже точно назвать время, когда этот хлопок раздался.

Пока было ясно только одно: убийца имел возможность проникнуть в квартиру гражданки Роговец тихо и незаметно, то есть у него были ключи от подъезда, а возможно, и от входной двери. Замок на двери стоял итальянский, новейшей системы, открыть его отмычкой практически невозможно. Да и не прикасалась отмычка к замку.

То есть либо Азаров сам открыл дверь убийце, либо тот имел еще и ключ от квартиры. Первое было вероятней, ибо Азаров в это время суток обычно спал крепко, и если бы убийца открыл дверь своим ключом, то Азаров был бы пристрелен в койке. А он между тем лежал поперек прихожей в халате, то есть, видимо, был разбужен звонком, накинул халат, пошел открывать.

Не исключалось, что убийца был знакомым Азарова и Роговец. Но у этой парочки оказалось такое количество знакомых, в том числе и в уголовной среде, что проверка всех возможных и невозможных версий обещала затянуться на многие месяцы.

Конечно, сама собой напрашивалась разумная и простая мысль, что Азарова добились друзья-соратники тех отморозков, против которых он давал свидетельские показания. И начиналась вторая серия благополучно законченного предварительного расследования перестрелки в «Витязе». Начальство утверждало, что концы надо искать там, в банкетной бойне.

Впрочем, старший следователь опергруппы Миша Сичкин придерживался иного мнения. Они с Кротовым знали по опыту, что слишком часто такие вот очевидные, лежащие на поверхности версии ведут в никуда. Вполне возможно, что убийство эстрадной звезды к побоищу в «Витязе» никакого отношения не имеет...

Кротова мучила совесть, что он будет гулять по Лондону, а Мишане Сичкину в это время придется вести сложное и неприятное расследование. Впрочем, простых и приятных дел в их работе бывает крайне мало.

...Пробка на Садовом кольце стала потихоньку рассасываться, а метель все мела. Сворачивая наконец на улицу Красина, Сергей подумал, что в Лондоне сейчас, наверное, настоящая весна. Ему предстояло лететь за границу впервые в жизни, и не куда-нибудь, а в Англию.

Подъезжая к дому и паркуя машину, он поймал себя на том, что уже скучает по своей семье, хотя никуда еще не улетел.

Он был женат чуть больше двух лет. Иногда эти двадцать пять месяцев семейной жизни казались ему одним долгим счастливым днем, а иногда он думал, что жену свою Лену знает очень давно – ближе и дороже ее не было никого на свете.

Сейчас Сергею было сорок два, Лене – тридцать шесть. В этом возрасте трудно чувствовать себя молодоженами, но они чувствовали – уже третий год.

До встречи друг с другом оба успели хлебнуть и семейной жизни, и одиночества. Лена дважды побывала замужем, Сергей был женат один раз, с первой женой Ларисой прожил двенадцать лет.

Детей в первом браке не было, и, наверное, это к лучшему. Их с Ларисой совместный быт был таким сложным и муторным, что даже редкие семейные праздники стали для Сергея чем-то вроде тягостной, унылой необходимости. Все эти годы его не покидало ощущение, что, переступив порог своего дома и увидев Ларисино лицо, услышав ее голос, он сразу тупеет – нарочно заранее тупеет, чтобы не реагировать на постоянные мелкие и крупные претензии жены, на частые и долгие истерики.

Многие годы Сергей ломал голову – почему ему так тяжело с Ларисой? Ведь у нее, кроме недостатков, была еще масса достоинств: квартира сверкала стерильной чистотой, Лариса была отличной хозяйкой. Сама она сидела на строжайшей диете, так как была профессиональной балериной, но, если в дом приходили гости, выкладывалась по полной программе, делала стол с кулебяками, жульенами, запеченными в сметане поросятами и сладкими дрожжевыми пирогами. К тому же она была практична, неглупа и весьма хороша собой.

Сергей убедил себя, что дело не в нем и не в Ларисе, а в семейной жизни как таковой. Совместный быт не может быть счастливым по определению. Он искренне верил, что с любой другой женщиной все будет так же, поэтому и не разводился с Ларисой, терпел до последнего. Развелся только тогда, когда стало совсем невмоготу. Взаимная тяжелая враждебность не давала дышать обоим. И Сергей решился на развод. Лариса поскандалила, но согласилась.

Но только потом, оглянувшись назад, он с удивлением понял, что дело было вовсе не в семейной жизни как таковой, а в том, что Ларису он не любил. И она его не любила. Каждый выражал это по-своему. Лариса закатывала скандалы и истерики, Сергей мрачно молчал, задерживался на работе даже тогда, когда в этом не было необходимости.

Через год после развода он встретил Лену Полянскую. Ему казалось, что он уже никогда не женится, проживет остаток жизни холостяком, перебиваясь легкими, ни к чему не обязывающими романчиками. И Лена замуж не собиралась – ей хватало горького опыта двух замужеств. Она ждала ребенка от своего второго мужа, с которым развелась. Растить ребенка она была намерена одна...

Однако, когда Сергей и Лена встретили друг друга, весь их горький опыт и планы на будущее гордое одиночество развеялись как дым. Два зрелых, разумных, достаточно потрепанных жизнью человека влюбились друг в друга по уши и до сих пор сами себе удивлялись. Они встретились и почти сразу поженились, не размышляя и не сомневаясь, будто старались наверстать потерянное друг без друга время.

И теперь никто, кроме них двоих, не знал, что двухлетняя Елизавета Сергеевна Кротова на самом деле не родная дочь Сергея. Но для них двоих это не имело значения. Кто же виноват, что им не удалось встретиться раньше, хотя бы на полгода раньше?

Ни Лену, ни Сергея не удивляло, что ребенок куда больше похож на отца, чем на мать. Нет, не на того человека, от которого он был зачат, а на настоящего отца – Сергея Кротова.

Сами они не сразу заметили это сходство, просто не обратили внимания. Да и определить, на кого похож новорожденный младенец, очень сложно.

Уже в роддоме, когда Кротов приехал забирать Лену с дочкой, сестра, вручившая ему ребенка, сказала: «Вылитый папа!» Потом ту же фразу повторяли и друзья, и соседки во дворе, и мамы, гулявшие с детьми на Патриарших, и врачи в детской поликлинике. Иногда какая-нибудь доброхотка, заигрывая с Лизой, могла сказать: «А почему у тебя, девочка, волосики беленькие, а у мамы твоей – темные? Почему ты совсем не похожа на маму?»

У Лены были темно-русые, почти каштановые волосы и темные, дымчато-серые глаза под черными бровями и ресницами. А Лиза получилась белокурая и голубоглазая, как Кротов, только усов не хватало.

Сейчас, к двум годам, стало ясно, что и характер у нее формируется кротовский, и даже мимика его.

– Когда я с тобой познакомилась, то не сразу поняла, что к чему, – призналась как-то Лена, – я еще размышляла, сомневалась. А Лиза сидела у меня в животе, и ей все уже было ясно про нас с тобой. Я переживала, почему не встретила тебя раньше, а Лиза просто взяла и родилась похожей на тебя. Получился такой маленький Кротов.

– Интересно, – пожал плечами Сергей, – а на кого же еще должен быть похож наш ребенок?

– Ну хоть немного – на меня, – вздохнула Лена.

– Ничего, следующий наш ребенок будет похож на тебя, – утешил ее Сергей.

* * *

Как только выяснилось, что Сергей летит в Лондон, Лена заставила его каждый день заниматься английским, хотя бы по полчаса, утром или вечером. Когда-то Сергей знал английский на уровне средней школы, но к сорока двум годам успел забыть напрочь. А Лена владела языком в совершенстве.

Она писала ему слова на карточках, рассовывала эти карточки по всем карманам и требовала, чтобы каждую свободную минуту он занимался повторением. Но свободных минут оказывалось слишком мало, голова была забита совсем другим.

Только сейчас, войдя в подъезд, Сергей вспомнил, что за целый день так и не заглянул ни в одну карточку и положенный десяток слов не выучил. Он уже приготовился к тому, что придется лечь спать на час позже. Лена выматывалась за день не меньше его, но дневную норму – десять новых слов – заставляла выучивать хоть в двенадцать ночи, хоть в час.

– Ты не представляешь, как противно оказаться в чужой стране без языка, – говорила она. – Переводчик не станет водить тебя за ручку с утра до вечера. Он ведь один у вас на всю группу. Вот захочется тебе просто погулять по городу, в кафе зайти, в магазин, а ты, кроме «хау ду ю ду», ни слова сказать не можешь. Никто не требует от тебя оксфордского произношения, и вовсе не обязательно знать, что такое герундий и модальные глаголы. Но элементарным разговорным минимумом ты должен владеть.

В почтовом ящике, кроме пары рекламных листочков, в которых уговаривали купить супертренажеры и суперкосметику, Сергей обнаружил еще и плотный продолговатый конверт. «Миссис Елена Полянская, Россия, Москва...» – было написано на нем по-английски. Обратный адрес – нью-йоркский.

Письма из Америки Лена получала довольно часто. За последние шесть лет она успела побывать там четыре раза, ее приглашали для чтения лекций то в Колумбийский университет, то Бруклинский колледж, то Кенан-институт. У нее были друзья и деловые знакомые в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.

Когда Сергей отдал Лене письмо, она даже не стала распечатывать конверт, рассеянно бросила его на холодильник. И про английский не вспомнила. Она была бледной, очень усталой и молчаливой. Сергей сразу почувствовал – что-то случилось.

Больше всего он испугался, что заболела Лиза. Собственно, это было единственное, чего он реально боялся. Остальное – пустяки.

– Ленуся, что-нибудь случилось? – спросил он, обнимая жену.

– У нас – ничего, – тихо ответила она, – Лиза здорова, я тоже. Ты не беспокойся, сейчас поешь, отдохнешь, и я расскажу.

Пока Лена разогревала ужин, Сергей на цыпочках зашел в детскую. Лиза спала, уютно свернувшись калачиком. Он тихонько поцеловал теплый лобик под белокурой челкой, поправил сбившееся одеяло.

– Папочка пришел... – громко произнесла Лиза во сне, вздохнула и перевернулась на другой бок.

Поздний ужин превращался для Сергея в очень поздний обед. Целый день на работе он перебивался бутербродами, чаем и кофе, зато дома, поздним вечером или даже ночью, наверстывал упущенное, съедал полный обед, с первым и вторым.

На кухонном столе стояла тарелка дымящихся щей, квашеная капуста, соленые огурчики – все, что он любил.

Лена читала, примостившись на кухонном диванчике. Сергей с удивлением обнаружил, что перед ней на столе лежит раскрытый учебник судебной медицины. Он знал, что сейчас она переводит для «Смарта» какую-то статью о серийных убийцах, но все равно удивился.

– Ленуся, зачем такие страсти на ночь?

– Скажи, пожалуйста, – задумчиво спросила она, – можно по странгуляционной полосе точно определить, прижизненная она или человека сначала убили, а потом повесили? Здесь перечисляется куча признаков, но не сказано, насколько они точные.

– С первого взгляда, конечно, нельзя, – ответил Сергей, принимаясь за щи (уж кому-кому, а полковнику милиции такие разговоры за столом аппетита не портили). – Но если задаться такой целью, то можно. Нужен определенный анализ тканей, кожного покрова в области полосы.

– Сейчас суицид расследуется на инсценировку? – был следующий Ленин вопрос.

– Ты, может, все по порядку расскажешь?

– Ладно, – Лена захлопнула учебник, – помнишь, как-то, около месяца назад, к нам заходил брат Ольги Синицыной, Митя? Ты рано пришел с работы, он сидел здесь, на кухне.

– Помню, – кивнул Сергей, – здоровый такой обалдуй, он тебя заболтал до потери пульса, еще кассету какую-то оставил с песенками.

– Он повесился сегодня ночью, – тихо сказала Лена. – Понимаешь, милиция, врач «Скорой» говорят – чистый суицид. А Ольга не верит. Там действительно очень все странно.

– Ну, видишь ли, суицид – вообще странная вещь. А родственникам всегда хочется думать, что человек не сам это сделал. Раньше на каждый труп выезжал прокурор, а теперь людей не хватает. Но если бы там что-то было...

– Сереженька, я не покушаюсь на честь мундира и не утверждаю, будто твои доблестные коллеги – халтурщики. Но ты послушай все по порядку.

– Хорошо, я готов послушать. – Сергей доел щи, закурил.

– Во-первых, там почему-то целые сутки не работал телефон. Ольга звонила им со вчерашнего утра, поставила свой аппарат на автодозвон. Потом выяснила, что с линией все в порядке, что-то случилось с аппаратом. Сосед починил его за пять минут, сказал, там какой-то контакт отошел. Три года не отходил, а именно в эти сутки отошел...

Лена во всех подробностях пересказала все, что узнала сегодня от Ольги.

– Леночка, я понимаю, – мягко произнес Сергей, дослушав ее до конца, – Синицына – твоя близкая подруга, ей сейчас очень тяжело, и ты за нее переживаешь. Но поверь мне, самоубийство примерно в пяти случаях из десяти бывает полнейшей неожиданностью, особенно для родственников. Он ведь и сам мог колотиться, как его жена, только об этом никто не знал, а мог и просто напиться с горя.

– С какого? – грустно усмехнулась Лена. – Что жена наркоманка? Так этому горю уже полтора года. И не вешаются из-за этого. А сам он не колотился, это точно. Катю он очень любил, души в ней не чаял. Они были чудесной парой, прожили пять лет, детей, правда, завести не могли, у Кати что-то не то со здоровьем. А потом начались наркотики... Он боролся за нее как мог. Родители ничего не знали, только Ольга. Она положила Катю в больницу, но все оказалось без толку. А Митя не сдавался, без конца находил каких-то наркологов, гипнотизеров, психотерапевтов. Понимаешь, он был очень активным человеком, он просто не собирался сдаваться. А покончить с собой – это признать свое полное поражение, то есть сдаться. Нет, из-за того, что Катя наркоманка, он не мог повеситься. А больше не из-за чего было.

– Господи, Ленуся, откуда ты знаешь, из-за чего люди вешаются? Бывает, человек все в жизни потерял, себя потерял. Какой-нибудь «опущенный» в зоне, который не имеет права даже к дверной ручке прикоснуться, бьют его ногами каждый день, трахают во все дырки, плевки заставляют слизывать, а он живет, цепляется за жизнь всеми своими поджилками. А у другого все в порядке, отличная семья, работа, друзья, уважение, достаток. А он бац – и руки на себя наложил. Ты ведь сама знаешь, по официальной статистике, самый большой процент самоубийств приходится на страны с самым высоким уровнем жизни: на Швецию, Данию, Голландию. А там, где голод, войны и реальные трудности, с собой кончают редко. Сытые римские патриции с удовольствием резали себе вены, а у нас в России в конце прошлого – начале нынешнего века просто мода была на суицид. Это считалось красиво, возвышенно – пустить себе пулю в лоб. Ты что думаешь, все были идиоты, сумасшедшие? У каждого в жизни трагедии случались?

Лена покачала головой.

– Нет, я так не думаю. Хотя... Есть в этом некая внутренняя патология. А в Мите никакой патологии не было. Здоровый, молодой парень. К тому же талантливый и всеми любимый.

– Ну, хорошо, – вздохнул Сергей, – предположим, он не сам это сделал. Допустим даже, был некто, имевший мотив. Но ты подумай сама, если сейчас крупных банкиров, лидеров политических партий и прочих сильных мира сего пристреливают в открытую, не размышляя, палят на улице или в подъезде – и все дела. А кто такой Митя Синицын? Кому приспичило устраивать инсценировку? К чему эти изыски? Ты знаешь, сколько стоит киллер? Да и потом, жену тоже бы убрали. Зачем им свидетель?

– А может, ее как раз поэтому и не убрали? Может, убийца так и рассуждал? Ведь он должен быть очень умным, чтобы все так тонко подстроить. Если она была под наркотиком, то и не видела, не слышала ничего... Нет, я понимаю, ты прав. Получается тупик. Головой понимаю, но поверить до конца не могу. Что-то здесь не так...

– Ленуся, когда молодой здоровый парень кончает с собой, это всегда не так. Это в принципе ненормально. Я охотно верю, что он не пил и не колотился, на учете в психдиспансере не состоял и вообще был добрым, замечательным человеком. Мне очень жалко твою Ольгу. Но пойми ты, суицид – не повод для детективных фантазий. Пусть, если она хочет, напишет заявление в прокуратуру.

– Она напишет, – кивнула Лена, – но что толку? Ей все уже популярно объяснили. Ужас еще и в том, что они даже отпеть его в церкви не могут. Там ведь и родители, и бабушка старенькая, и каждый думает про эту смерть: «За что?» – каждый пытается найти причину, себя винит. У них в семье Митя всегда был младшенький, маленький, его и любили больше,

чем Ольгу, и баловали. Представляешь, что с ними со всеми сейчас творится? Ольга, конечно, убийцу искать не собирается, но ей все-таки надо знать точно – сам он это сделал или нет.

– Пусть наймет частного детектива. Ей ведь средства позволяют.

– Возможно, она так и сделает, – задумчиво произнесла Лена.

Глава 4

– Вениамин Борисович, там еще дуэт «Баттерфляй» ждет, – сообщила пожилая секретарша в розовом шерстяном костюме.

– Нет, – покачал он головой, – скажите, чтобы пришли послезавтра. А лучше в понедельник к одиннадцати.

– Вениамин Борисович, вы уже второй месяц их переносите. Они сюда ездят как на работу. Хотя бы взгляните на них, хорошие девочки, честное слово.

Дуэт «Баттерфляй», две восемнадцатилетние певички Ира и Лера, действительно уже второй месяц приезжали на прослушивание, но на них никогда не оставалось времени и сил.

За сорок дней они успели одарить секретаршу Инну Евгеньевну всем – от больших коробок конфет «Моцарт» до духов «Шанель» нового поколения. Подношения секретарша принимала с небрежной благосклонностью, будто делая честь дарителю. Все быстро исчезало в ящиках ее стола и тут же забывалось – результат подношений оказывался нулевым.

И только сегодня блондинке Ире, которая была более бойкой и практичной, пришлось в голову просто сунуть в карман элегантного розового пиджака Инны Евгеньевны три сто долларовые купюры в белом конвертике.

– Вениамин Борисович, вы ведь знаете, у меня глаз наметанный, – настаивала секретарша, – необычные девочки, вы только посмотрите на них. На такие типажи сейчас есть спрос.

– Ладно, – вздохнул он, – кофе мне принесите. Пусть заходят. Только сразу на сцену, и предупредите их, чтобы никакой «фанеры».

– Ну что вы, Вениамин Борисович! Какая «фанера»? – обиделась секретарша. – Они вообще только живьем пока работают.

Она хотела было выпорхнуть в коридор, но он остановил ее:

– Возраст?

– По восемнадцать каждой.

– Откуда?

– Москвички.

– Ладно, зовите, – махнул он рукой, – только кофе давайте скорее, и покрепче.

Прослушивание начинающих исполнителей было самой тяжелой и неблагодарной частью его работы. Каждый раз, сидя в маленьком зрительном зале бывшего районного Дома пионеров, он чувствовал себя усталым грязным старателем, упрямо просеивающим пустую породу в поисках мельчайших крупинок золота. Но уж если попадались эти редкие крупинки, они с лихвой окупали усталость и звон в ушах от дурных голосов и назойливых мелодий.

Этот двухэтажный особнячок конца восемнадцатого века, расположенный в самом центре Москвы, он купил три года назад. Он не пожалел денег на ремонт и оборудование деревянного, почти прогнившего купеческого домика, который чудом уцелел когда-то после пожара 1812 года. Теперь здесь компактно и удобно разместился офис, студия звукозаписи, монтажная. Здесь же иногда работали клипмейкеры.

Хилый заборчик был заменен высокой чугунной оградой, у ворот построили теплый домик с санузелом для круглосуточной охраны. Никакой вывески на воротах не было, но половина Москвы знала: здесь находится одна из пяти студий знаменитого шоу-концерта «Вениамин».

Начинка особняка была совершенно новой, да и стены практически переложили заново. Внутри все сверкало, как должно сверкать в студии-офисе концерта-миллиардера. Но одно помещение Вениамин Волков трогать не разрешил.

В прошлом и позапрошлом веках самая большая комната в доме служила гостиной для прежних хозяев, торговавших сукнами и ситцами. С тридцатых годов нашего века особнячок

стал районным Домом пионеров, и бывшая гостиная служила зрительным залом. Вплоть до начала девяностых здесь занимались драматический и танцевальный кружки.

Вдоль стен, размалеванных горнами, флагами и прочей пионерской символикой, тянулся лакированный, потемневший от времени брус балетного станка. К маленькой дощатой сцене вели две гладкие от тысяч детских ног ступеньки. За сценой помещалась крошечная каморка без окон, где все еще хранились обломки фанерных декораций.

Он не позволил ничего трогать в этом зале. Именно здесь он выполнял самую трудную, изматывающую работу. И обшарпанный зал, и каторжная работа были его придурью. Но теперь он мог это себе позволить...

Когда-то, очень давно, в другой жизни, ученик пятого класса, пионер Вень Волков поднялся на такую же дощатую сцену и спел под звуки старенького расстроенного пианино песню времен Гражданской войны «Там вдали, за рекой». Это было не в московском, а в тобольском Доме пионеров, в таком же старом купеческом особнячке, в зале с горнами и флагами, нама- леванными на стенах масляной краской.

Семь минут, пока длилась песня, тридцать мальчиков и девочек в маленьком зале слу- шали только его, смотрели на него, невзрачного, тощего, белобрысого Веньку.

Пел он для одной-единственной девочки, пятиклассницы Тани Костылевой. Он вложил в песню все, что чувствовал, глядя на нежное, чуть удлинненное Танино лицо, на тонкую, без- защитную шейку, обвитую алым шелковым галстуком. Тогда он еще не мог понять, что это были за чувства, к чему потом приведет его густой, нестерпимый жар, властно наполняющий все тело, сжигающий сердце и покалывающий кончики пальцев.

Напряженно-печальную мелодию он выводил очень точно, не переврал ни единой ноты. Тогда, тридцать лет назад, он еще ничего не понимал в себе самом, а теперь вдруг подумал, что было бы лучше, если бы он тогда же, прямо на скрипучей дощатой сцене, умер внезапной смертью, моментальной и безболезненной, не допев красивой песенки. Да, так было бы лучше и для него, и для той тонкошейки пятиклассницы в шелковом галстуке, и для многих других...

– Вениамин Борисович! – сладко позвал голос секретарши.

Она ловко вкатил в зал высокий сервировочный столик красного дерева с большой тол- стостенной керамической кружкой. Вень терпеть не мог маленьких тонких чашечек, кофе пил крепкий, сладкий, с большим количеством жирных сливок. Он любил, когда кофе много, а кружка тяжелая, толстостенная.

На сцене уже стояли две красотики в узких голубых джинсах, дуэт «Баттерфляй». Он даже не заметил, как они вошли в зал. Несколько секунд он молча разглядывал их. Действительно, не больше восемнадцати. Одна – яркая стриженная блондинка, чуть полноватая, с тяжелой мяг- кой грудью под тонким свитером. Вторая – худенькая шатенка с прямыми волосами до плеч. Первая, безусловно, сексуальней, но стандартна. Вторая, пожалуй, интересней. Есть в ней что- то необычное: высокий лоб, надменный разрез глаз, тонкие руки. Да, в ней чувствуется порода. Пожалуй, Инна права, это сочетание может быть интересным – наглая, стандартная сексуаль- ность и некий неожиданный изыск, породистая дворяночка.

В голове автоматически замелькали кадры возможных клипов. «Неужели повезет?» – с осторожным волнением подумал он и сказал, ласково кивнув:

– Начинайте, девочки. Ни аккомпанемента, ни микрофона не будет. Пока. Первую песню вы споете, стоя спокойно и не двигаясь. Просто споете. Ясно?

Они молча ждали. Он всегда начинал прослушивание именно с этого. Ему прежде всего нужны были их лица и голоса. Пластику всегда можно потом поставить. Без движения, без музыки и микрофона страшно трудно исполнять ту попсовую фигню, с которой обычно при- ходят к нему эти девочки-мальчики. Он знал: один на один с пустыми, бессмысленными сло-

вами, с этой фигней на устах, исполнитель становится как бы голым, незащищенным. И сразу он виден весь, без прикрас.

Уже никто из его коллег, бывших конкурентов, не занимался подобной тягомотиной. Деньги делали не на тех, кто мог петь, а на тех, кто жаждал увидеть себя либо своих жен, детей, любовниц, любовников и так далее в классно сделанном клипе. Таких желающих было более чем достаточно. Раскрутка шла не от самого исполнителя, а от денег, которые за ним стояли. Эстрадного шептуна и топтуна можно сотворить хоть из телеграфного столба – были бы деньги.

Вениамин Волков никогда не поддавался соблазну быстрых, сиюминутных денег. Все вокруг делали свой бизнес с расчетом только на сейчас, не думая о будущем. Для других все решалось просто: лучше тысяча, но сию минуту, чем миллион через неделю. Когда в основу положен криминальный капитал, то нет никакой гарантии, что доживешь до конца недели и грядущий миллион не застанет тебя там, где он уже не нужен.

В итоге в шоу-бизнесе концерн «Вениамин» остался единственным, где делались настоящие, редкие звезды. Для звезды необходимо качественное живое сырье, крупинки золотой пыли. Другие делали из дерьма конфетки, приторные леденцы, от которых даже у всеядного российского потребителя крошились зубы и болел желудок. А Вениамин Волков не жалел времени и сил, не боялся риска. Он делал звезд и ставил на звезд. Он отдавал себе отчет в том, что, если на телеэкране постоянно мелькают только задницы, публика поневоле захочет увидеть иногда лица.

Девочки, стоя на сцене, вытянув руки по швам, пели слабенькими, но приятными голосами какую-то стандартную лабуду, скорее всего собственного сочинения. Он не слушал. Он вглядывался в лица и пытался угадать, почувствовать тонкую ауру, неуловимый запах успеха.

Эстрадный успех в чистом, изначальном виде – вещь непредсказуемая. Вкус публики нельзя вычислить логически, но угадать можно. Для этого надо иметь особый талант. Вениамин Волков тешил себя надеждой, что имеет его. Сейчас он мог позволить себе такие отвлеченные материи, как «талант» и «надежда». Он шел к этому долго и трудно, через кровь, грязь, бандитские разборки, он столько раз переступал через других и через себя самого, что сейчас мог расслабиться, поиграть в интеллектуала, в человека, причастного к чему-то таинственному и высокому.

Покуривая, допивая густой, приторно-сладкий кофе со сливками, он с досадой почувствовал, что девочки эти – очередные пустышки. Нет в них ничего, не пахнет от них удачей. Может получиться один неплохой клип, если сыграть на контрасте типажей, но ради этого их долго придется дрессировать. Не стоят они таких усилий.

– Спасибо, достаточно, – перебил он песню, мягко хлопнув в ладоши.

Они моментально замолчали на полутакте.

– Вениамин Борисович, можно мы еще одну песню споем? – вдруг громко предложила блондинка.

– Еще? Нет, хватит. Мне все ясно. Вы свободны, девочки.

– Одну! – настаивала блондинка. – Только куплет, пожалуйста! Это две минуты.

– Ладно, валяйте, – махнул он рукой – было лень их выгонять, а сами они не уйдут, не спев своего куплета.

Не покидай меня, весна...

У худенькой шатенки голос был ниже и глубже. Она начала, блондинка подхватила. Романс Кима из какого-то фильма семидесятых звучал красиво и печально. Но это уже было не важно.

Продлитесь вы, златые дни...

Он чуть прикрыл глаза. Слушать было приятно. Что-то стало наплывать издалека... Костерок на крутом берегу, короткая июньская ночь, тонкий, повисший рваным кружевом светлый туман над рекой, густой городской парк и мелодия романса:

Не оставляй меня, надежда!

Сердце прыгнуло и застучало. Ладони стали горячими, прямо раскаленными. Кровь жарко запульсировала в висках.

Две девушки, яркая полноватая блондинка и худенькая породистая шатенка. Сексуальная кошечка и дворяночка...

Когда так радостно и нежно
Поют ручьи, соловьи...

Сейчас они заметят, как сильно он дрожит. Сейчас он встанет и подойдет к сцене, поднимется по ступенькам. Правая рука инстинктивно сжала паркеровскую ручку с острым золотым пером. Колпачок уже снят, ручка лежит на открытом блокноте-ежедневнике. Перо очень острое.

Девочки пели самозабвенно, они не замечали, как побагровело его лицо, как трясется правая рука с зажатой в ней паркеровской ручкой. Четырнадцать лет назад под звуки этой же песни он встал и, сделав почти смертельное усилие, быстро ушел в зыбкую темноту городского парка, плавно переходящего в тайгу...

Он резко надавил подушечкой большого пальца на острие золотого пера. Оно глубоко вонзилось в кожу, но боли он не почувствовал. Кровь смешалась с черными чернилами.

– Достаточно, – глухо произнес он, стараясь унять дрожь, которую отбивали зубы. – Вы свободны. Уйдите, я устал.

Когда они ушли, он быстро прошагал в крошечную каморку за сценой, где стояли обломки пыльных декораций, оставшиеся от спектаклей пионерского драмкружка. Не зажигая света, он запер дверь изнутри и пробыл в пыльной темноте, пахнувшей старой масляной краской, почти полчаса.

Секретарша осторожно заглянула в пустой зал, увидела закрытую дверь каморки и удалилась на цыпочках. За ее шефом водилось много всяких странностей.

* * *

В ритуальном зале Николо-Архангельского крематория раздавались громкие, надрывные всхлипы. Катя Синицына, бросившись к открытому гробу, целовала ледяные руки мужа.

– Митя! Митенька! Прости меня! – захлебываясь, кричала она.

– Пожалуйста, побыстрее, у нас следующая церемония на очереди, – досадливо поморщившись, обратилась к стоявшей рядом Ольге служащая крематория, эффектная рыжеволосая дама в идеальном черном костюме и белой блузке.

Из невидимых динамиков звучала органная фуга Баха. Ольга шагнула к Кате, взяла ее за плечи, что-то зашептала на ухо и попыталась отвести от гроба. Двое молодых людей, друзей Мити, подошли к ней на помощь, но Катя не отпускала мертвых пальцев мужа и продолжала громко рыдать.

Лена Полянская стояла рядом с восьмидесятилетней бабушкой покойного Зинаидой Лукиничной. До этой минуты старушка держалась на удивление мужественно. Но Катины

рыдания ее доконали, она стала медленно, тяжело оседать. Лена едва успела подхватить ее и тихо спросила:

– Зинаида Лукинична, что – сердце?

– Нет, деточка, – прошептала старушка в ответ, – просто голова кружится.

Ольга попросила Лену приехать на похороны именно ради бабушки.

– Я буду с родителями, – объяснила она, – и жена наверняка истерику закатит. К тому же вся организационная сторона на мне. Ты уж прости, я знаю, твой Серега в Англию улетает, но, кроме тебя, я бабулю никому поручить не могу. Мне страшно за нее, все-таки возраст. А ты на нее всегда действовала успокаивающе.

– Дорогие родственники, – бросив взгляд на часы, произнесла ритуальная дама своим хорошо поставленным голосом, – кто еще хочет попрощаться с покойным, подходите. Только, пожалуйста, побыстрее.

В приоткрытую дверь зала уже нетерпеливо заглядывали родственники следующего покойного. А за ними будут еще и еще, и так с утра до вечера. Конвейер.

Эффектная рыжеволосая дама в черном пиджаке по десять раз в день произносит свой заученный текст, динамики врубаются, звучат Бах или Шопен. Автобусы ритуальной службы подъезжают, отъезжают, шоферы нетерпеливо топчутся у кабин, покуривают, сплевывают на землю сквозь зубы...

Лена вдруг подумала, что надо обладать каким-то особым душевным устройством, чтобы работать со смертью, с ежедневным, ежечасным горем. Она представила, как эта рыжеволосая ритуальная дама пьет утром свой чай или кофе, накладывает макияж, отправляется на работу, а вечером возвращается домой. Интересно, обсуждает ли она со своей семьей, с мужем и детьми, свой рабочий день? Делится ли впечатлениями, и остаются ли у нее вообще какие-либо впечатления от похоронного конвейера?

«Да что это я? – раздраженно одернула себя Лена. – Работа как работа. Кто-то должен и этим заниматься, есть еще масса профессий, в которых человек вынужден постоянно сталкиваться со смертью и горем. Мой собственный муж то и дело выезжает на трупы. А есть еще судебные медики, врачи «Скорой», могильщики на кладбищах и те, кто работает здесь, за черными шторами крематория. Чем же эта элегантная дама с хорошо поставленными скорбными интонациями отличается от обычного человека? Возможно, тем, что постоянно должна играть, изображать скорбь лицом и голосом, произносить казенные сострадательные фразы.

Сыщик и судебный медик расследуют убийства, врач «Скорой» пытается спасти, могильщик роет могилу, те, за шторами, следят за печью. А ритуальная дама просто стоит вот так с утра до вечера и изображает скорбь, торопит одних, приглашает других...»

– Леночка, детка, помоги мне к нему подойти, – попросила Зинаида Лукинична.

Поддерживая старушку под локоть, Лена осторожно подвела ее к гробу. Зинаида Лукинична погладила сморщенной рукой выющиеся светлые волосы мертвого внука, поцеловала ледяной лоб, перекрестила.

– Граждане, время! – послышался за спиной голос ритуальной дамы.

– Еще немного, пожалуйста. – Ольга быстрым движением сунула ей в руку очередную купюру.

– Мне что? – сказала дама уже мягче и тише. – Но там ведь люди ждут.

Лена никогда прежде не видела лиц самоубийц. Ее удивило, что Митино лицо было спокойным и безмятежным, будто он просто уснул.

– Господи, прости его, Господи! – шептала Зинаида Лукинична. – Он не ведал, что творил... Внушек мой, Митенька, маленький мой, я попробую отмолить твой грех, деточка моя, внушек мой... Митюша...

Лена обняла вздрагивающие плечи старушки.

«Господи, ну ведь я тоже не железная...» – подумала она.

И тут ее взгляд упал на Митины руки, большие, сильные, с гибкими пальцами профессионального гитариста. На правой руке она заметила несколько тонких царапин. Было похоже, что Митя поранился перед самой смертью. Чем можно так пораниться? Чем-то тонким и острым... Иглой!

Вглядевшись внимательней, Лена заметила несколько точечных ранок, в углублении между пальцами и на самой кисти. Да. Это были следы иглы. Их заметили милиционеры и врачи, они сразу сказали Ольге: «Наркоман был ваш братец...» Но почему следы иглы на правой руке? На левой ничего нет. Левшой Митя не был, это Лена знала точно.

– Леночка, ты заедешь сейчас к нам, хотя бы на час? – спросила Зинаида Лукинична, когда гроб уплыл за черные шторы.

«Нет! – хотела ответить Лена. – Я не могу, мой муж улетает сегодня ночью, и дочку я не видела с раннего утра, и работы у меня навалом, и вообще, мне тяжело все это, я хочу домой как можно скорее».

– Конечно, Зинаида Лукинична, – сказала она вслух, – я заеду к вам помянуть Митюшу.

В доме Синицыных было много народу. Поминальным столом занимались какие-то родственницы. Стояла приглушенная суeta. Рассаживаясь у стола, старались потише двигать стулья, разговаривали вполголоса.

У Кати опять началась громкая истерика.

– Лен, отведи ее на лестницу, очень тебя прошу, – шепнула Ольга, – выйди с ней покурить, пусть она там тихо уколется, а то нет сил слушать.

Лену покорило это «пусть уколется». В конце концов, Катя мужа потеряла, с которым прожила восемь лет, именно Кате пришлось вытаскивать его из петли. Нельзя все ее эмоции приписывать только наркотикам.

– Вот ее сумка, – Ольга протянула Лене потертый кожаный мешочек на шнурке, – там все есть. Давай скорее! У Глеба уже ушки на макушке.

Действительно, тринадцатилетний Глеб, старший сын Ольги, уже стоял в дверях и внимательно прислушивался к разговору.

– Мам, там Кате плохо совсем, может, врача вызвать?

– Обойдемся без врача! – отрезала Ольга. – Иди в комнату, не маячь!

Через две минуты Лена уже выводила рыдающую Катю под локотки на лестницу. Когда входная дверь за ними закрылась, Лена достала пачку сигарет. Совсем непросто сказать почти незнакомой женщине: «Не мучайся, родная, уколись, не стесняйся меня, я все знаю».

Катя с жадностью затаилась и тут только заметила висевшую у Лены на локте собственную сумку. Глаза у нее высохли и заблестели.

– Катюша, – мягко сказала Лена, – а ты не можешь еще немного потерпеть?

Вопрос прозвучал глупо: не время и не место отучать Катю от наркотиков, но все-таки язык не поворачивался предложить человеку уколиться.

– Если тебе неприятно смотреть, можешь отвернуться, – произнесла Катя и нервно облизнула губы. – Ты не волнуйся, я быстро.

– Ладно, валяй! – вздохнула Лена. – Только давай уж поднимемся, встанем между этажами, к подоконнику, а то, мало ли, лифт подъедет, увидит кто-нибудь.

– Ты, если хочешь, можешь здесь постоять, а я поднимусь, – предложила Катя.

– Да, пожалуй, так лучше.

Действительно, у Лены не было ни малейшего желания наблюдать, как она будет колоться.

Катя умудрилась сделать это за считанные минуты, просто взлетела по ступенькам вверх и тут же вернулась – со спокойным, умиротворенным лицом. Даже румянец заиграл на щеках.

– Еще сигаретку дашь? – спросила она.

Лена протянула пачку и заметила на маленькой, худенькой, похожей на птичью лапку Катиной кисти несколько тонких легких царапин. И точки были на выпуклых синеватых венах... Только это левая рука.

– Катюша, скажи, пожалуйста, когда Митя успел руку поцарапать?

– Руку? – Катя непонимающе замигала. – Какую руку?

– Какую именно, не помню, – соврала Лена, – просто заметила у него царапины на кисти.

– Ты думаешь, он кололся, как я, куда попало? – спросила Катя совершенно спокойным голосом и выпустила струйку дыма в сторону лифта.

– Я ничего не думаю, просто спрашиваю, – пожала плечами Лена, – в общем-то, теперь это уже не важно.

– Нет, – помотала стриженной головой Катя, – это важно. Митя не кололся. Никогда, ни разу в жизни. Он ненавидел наркотики. Это я во всем виновата, но я ничего не могла поделать. Я довела его до этого, я не могла ребенка ему родить, я требовала денег, а он терпел, он любил меня.

Лена испугалась: сейчас опять, несмотря на укол, начнется истерика. «Пора мне домой, – грустно подумала она, – Сережа скоро с работы придет, заберет Лизоньку у Веры Федоровны, они меня будут ждать...»

– Катюша, а почему ты колешься не в вены локтевого сгиба, а в кисть? – спросила она вслух и тут же подумала: «Зачем я об этом спрашиваю? Какое это для меня имеет значение? Просто любопытствую?»

Катя молча задрала вверх рукав свитерка и показала Лене локтевой сгиб – огромный, припухший, черный синяк в мелких крапинках подсохших коричневых корочек. Лену вдруг словно кипятком окатила жалость к этой маленькой, худющей, теперь совершенно одинокой, никому на свете не нужной девочке.

Родители Кати живут где-то то ли в Магадане, то ли в Хабаровске, они давно развелись, отец спился, у матери новая семья, до Кати ей дела нет. Лена вспомнила, как все это рассказывал ей Митя однажды, в каком-то давнем разговоре... Она тогда радовалась за него, он прямо светился весь, рассказывая о своей жене Катюше. Он и правда очень ее любил.

Теперь эта несчастная наркоманка никому не нужна. Ольга, уж конечно, больше с ней возиться не станет. Она делала это только ради Мити.

– С чего у тебя началось? – тихо спросила Лена.

– После третьего выкидыша, – спокойно сообщила Катя, – до этого я не то что не кололась, но вообще – не пила и не курила. Мы с Митей очень хотели ребенка, ужасно хотели. Но не получалось. После третьего выкидыша мне сказали: все, никогда не будет. Даже из пробирки, даже искусственно – не будет. Вот тогда я и подсела на иглу. Знакомый помог, пожалел меня, предложил попробовать – чтоб сразу отрубиться и все забыть. Я думала, один раз сделаю – и все, только чтобы забыть...

– Забыла? – тихо спросила Лена.

– Ладно. Поговорили, хватит. – Катя махнула рукой. – Тебе все это по фигу, я тебе никто, и ты мне никто. С какой стати ты мне в душу лезешь? Я дрянь, наркоманка, а ты чистая, порядочная женщина, у тебя муж, ребенок. Пожалеть меня решила, посочувствовать? Лучше денег дай. Ольга теперь не даст. После поминок – коленкой под зад. Спасибо, если из квартиры не вышибет. Я бы на ее месте точно вышибла. Это ведь она нам квартиру купила.

«Елки-палки! Хватит с меня! – подумала Лена. – Прямо Достоевщина какая-то, в худшем смысле этого слова. Тоже мне, Смердяков со шприцем!»

– Ладно, пошли в квартиру, – сказала она и нажала кнопку звонка.

Дверь открыл младший сын Ольги, белокурый голубоглазый Гоша одиннадцати с половиной лет.

* * *

Поздно вечером в пустой и тихой квартире в Выхине Катя Синицына стояла под горячим душем в трусиках и футболке. Из глаз ее лились слезы и смешивались с горячей водой. Она очень устала плакать, но остановиться не могла. Только теперь, вернувшись с поминок, она осознала, что произошло.

Мити больше нет, и жить ей незачем. Кому она теперь нужна? Запас наркотиков кончится очень скоро, а денег, чтобы купить еще, она не достанет. Если Ольга не выгонит ее из квартиры, то можно попытаться сдать одну комнату или продать эту квартиру и купить поменьше. А на разницу жить... Нет, не получится! Квартира записана на Митю, Ольга наверняка как-нибудь подстраховалась, не сможет Катя без ее согласия продать. Она теперь вообще никто, даже позвонить некому, все друзья – Митькины, своих у нее не было никогда.

Почему-то ужасно захотелось позвонить хоть кому-нибудь, услышать собственное имя из телефонной трубки, иначе сейчас только в петлю, как Митька. Но это очень уж страшно, страшнее одиночества. Так хоть душа остается. Здесь помучаешься, а душа потом отдохнет.

С кем она недавно говорила про бессмертную душу? С кем-то хорошим, милым, добрым... Ну конечно! С Региной Валентиновной! Как же ей сразу в голову не пришло?

Выключив воду, Катя стянула с себя мокрые трусики и майку, завернулась в большое махровое полотенце, прошлепала босыми влажными ногами на кухню, села за стол, закурила, сняла телефонную трубку.

На секунду взгляд ее остановился на толстой газовой трубе, проходившей над проемом кухонной двери, перед глазами опять возник Митя, уже мертвый. Сердце больно и гулко вздрогнуло. Мотнув головой и зажмурив глаза, Катя отогнала от себя это видение и набрала номер, который знала наизусть.

Послышался гудок, потом щелкнул определитель номера. Трубку тут же взяли.

– Регина Валентиновна, простите, что я так поздно.

– Ничего, Катюша, я не спала. У тебя сегодня был очень тяжелый день, я ждала твоего звонка.

– Правда? – обрадовалась Катя. – Можно, мы сейчас немножко позанимаемся?

– Конечно, деточка. Нужно!

Закрыв глаза, Катя начала говорить в трубку каким-то странным, монотонным голосом:

– Мити больше нет. Я поняла это только сейчас, когда приехала с поминок и осталась совсем одна. Мне страшно, потому что я одна. Ольга может меня выгнать из квартиры, нет денег, нет ничего, я даже попросила сегодня денег у Ольгиной подруги. Мы вышли на лестницу покурить. Ольга специально так сделала, она поняла, что мне надо уколиться, и послала эту Лену со мной на лестницу.

Лена стала меня жалеть, спрашивать... Она даже спросила, не колосся ли Митя. Как она могла такое подумать о нем? Она какие-то там царапины углядела у него на руке. Он лежал в гробу, а она царапины разглядывала.

– Лена Полянская? – осторожно спросил голос в трубке.

– Кажется, Полянская. Точно не помню.

– Тебе неприятно было с ней разговаривать?

– Неприятно. Я сказала, что, если она такая добрая и хочет меня пожалеть, пусть лучше денег даст. А теперь стыдно. Я чувствую, скоро начну у всех просить. Пока ампулы остались, но надолго не хватит. Я боюсь. Я не выдержу.

– Ты выдержишь, деточка, – голос в трубке был спокойным и ласковым, – продолжай, пожалуйста.

– Потом было застолье, все в тумане, даже не помню, кто отвез меня домой. Только осадок остался, что я попросила денег у чужого, малознамого человека. Я больше всего боюсь, что начну просить. И еще – мне больно, когда думают плохо о Мите. Я ведь знаю, точно знаю, он не кололся. А эта женщина углядела царапины у него на руке.

Она на похоронах все время с их бабушкой была, за плечи ее держала, успокаивала. Бабушка – камень, ни слезинки не уронила, и вообще, все они каменные. Никто по Митеньке не плакал, только я. Ольга думала, я истерю потому, что мне надо уколоться. Она даже не понимает, как можно плакать по человеку, только и забот у нее – чтобы драгоценные детки не заметили ничего, чтобы никто не знал о том, что я колюсь.

У них всегда так, лишь бы внешне все было спокойно и прилично, а как на самом деле, им наплевать. Я ведь тоже человек, я живая, а меня никто не пожалел. Полянскую специально Ольга позвала, ее старуха любит... А меня никто теперь не любит. У Полянской муж ночью в Англию улетает, я слышала разговор, и дочь у нее есть маленькая. Лизой зовут.

У всех все есть, а у меня – ничего. Отцу с матерью я давно не нужна, Митя бросил меня. Он ведь меня бросил, таким вот жутким способом. Надоело ему со мной возиться, все его нервы и силы сожрали мои наркотики. А уйти, развестись он не мог, характера не хватало. Господи, что я такое говорю? – Будто спохватившись, Катя открыла глаза и потянулась за следующей сигаретой.

– Не волнуйся, деточка. Что говорится, то и говорится. Ты же помнишь наше условие: все плохое надо заворачивать в слова, как мусор в газету, и выбрасывать вон. Тогда душа очищается. – Голос в трубке звучал мягко, баюкал, утешал. – Катенька, надо тщательно проговаривать все, ничего не забывать.

– Может, мне в церковь пойти? – неожиданно спросила Катя. – Может, вообще в монастырь? Это ведь лучше, чем в петлю.

– Ты сейчас не отвлекайся, деточка, если будешь отвлекаться, не сможешь уснуть всю ночь. А поспать тебе надо. Прежде всего надо как следует выспаться. Продолжай, не отвлекайся. Ты обиделась на Полянскую, она заметила царапины на Митиной руке. О чем вы еще с ней говорили?

– Ни о чем. Она поняла сразу, что разговор мне неприятен. Она спешила домой, муж у нее ночью в Англию улетает, и дочка маленькая... Она даже за стол потом не села, только к бабушке в комнату зашла попрощаться... Бабушка уже к себе ушла, легла... А потом вообще ничего не было, я не помню.

– Ольга видела царапины на Митиной руке?

– Не знаю. Ольга со мной вообще не говорила. Она еле терпит мое присутствие. Мне кажется, она только и думает, почему это случилось с Митей, а не со мной. Она хотела, чтобы это я в петле болталась. Конечно, так было бы всем лучше, и мне тоже... И еще – Ольга не верит, что Митя это сам сделал. Полянская, по-моему, тоже не верит. Им кажется: помогли ему.

– Они говорили тебе это? Спрашивали о чем-нибудь?

– Ольга спрашивала подробно, как мы день провели и вечер, что делали – по минутам. Но давно, не сегодня. Я не помню, когда именно. Просто осталось ощущение, что она меня мучает, жилы из меня тянет.

– А Полянская?

– Полянская только про царапины спросила.

– Так почему ты решила, будто она не верит, что Митя покончил с собой?

– Мне так кажется... Я не знаю... у меня такое чувство, будто они все меня считают виноватой.

– Ты слышала какой-нибудь разговор? С чего ты взяла...

– Господи, ну разве это важно, кто что думает? – выкрикнула Катя в трубку. – Пусть они думают что угодно и обо мне, и о Мите. Какая теперь разница?

– Ладно, деточка. Не заводись. Я вижу, тебе уже лучше. Сейчас ты положишь трубку и пойдешь спать. Ты будешь спать крепко и сладко. Ты заснешь сразу, уколешься на ночь и проспишь очень долго. Ты будешь спать долго и крепко, ты уже сейчас очень хочешь спать. Ноги у тебя тяжелые, теплые, тебе хорошо и спокойно. Положишь трубку, сделаешь себе укол и уснешь. Все. Спать. Укол и спать.

На вялых, заплетающихся ногах Катя дошла до прихожей, где валялась на полу ее сумка-мешок. Сейчас она помнила только одно – там, в мешке, есть шприц и ампула. Там осталась одна ампула, еще две штуки лежат в ящике письменного стола и еще три – в старом футляре от Митиной электробритвы, на книжной полке. Футляр стоит на книжной полке, там есть еще три ампулы. Это Катя помнила точно, а больше – ничего.

Ей очень хотелось спать, глаза упрямо закрывались, как у куклы, которую положили на спину. Игла никак не хотела попадать куда надо, царапала кожу, но совсем не больно.

Глава 5

Тобольск, октябрь 1981 года

На пыльной сцене городского Дворца пионеров хореографический ансамбль отплясывал «Русскую кадриль». Мальчики в желтых косоворотках, девочки в сапожках и голубых сарафанах весело носились по сцене, подбоченясь, громко топали под заводную музыку.

Толстуха Галя Малышева, инструктор отдела пропаганды, не выдержала и стала притопывать ногой в такт, шепотом подпевать заливчатской песенке:

Фабричная, колхозная,
Смешная и серьезная...

– Галька, перестань! – ткнул ее локтем в бок сидевший рядом Володя Точилин, инструктор по работе с творческой молодежью. – Мы же все-таки комиссия горкомовская, води себя солидно. Вон с Вениамина бери пример.

Вениамин Волков сидел и смотрел на сцену с совершенно каменным лицом, как и подобает члену горкомовской комиссии, явившейся поглядеть на репетицию праздничного концерта, посвященного очередной годовщине Октябрьской революции.

– Классный у нас ансамбль! – хлопнув себя по широкой коленке, громко прошептала Галя. – Хоть в Москву посылай! Да и за границу можно, в Карловы Вары. Эй, товарищ заведомо культуры, ты бы посодействовал развитию молодых талантов, – весело подмигнула она Волкову.

Он ничего не ответил, даже головы не повернул в ее сторону. Он не мог оторвать своих чистых, прозрачных глаз от сцены.

По сцене летали легкие ножки солистки. Узенькие ступни, обутые в мягкие танцевальные сапожки, почти не касались пола. У многих девочек ансамбля косы были искусственные, приколотые, и даже по цвету немного отличались от живых волос. А у солистки коса была своя, толстая, блестящая, пепельно-русая. Лиф голубого сарафана туго перетягивал тонкую талию, широкая юбка развевалась над стройными длинными ногами.

Веня видел перед собой раскрасневшееся, чуть удлиненное личико, веселые ярко-голубые глаза. Девочке было лет шестнадцать. Малышева не выдержала и восторженно зааплодировала солистке.

– Нет, ну точно их надо в Москву отправить, на какой-нибудь конкурс! Такие таланты в нашей глуши пропадают! – громко сказала она.

– Да, Таня Костылева у нас самородок, – гордо кивнул директор Дворца пионеров, сидевший рядом и внимательно следивший за реакцией членов комиссии.

Следующая репетиция будет генеральной, на нее придут из горкома партии. А на концерт обязательно заявится какое-нибудь идеологическое начальство из области.

Музыка кончилась. Дети на сцене на секунду застыли в финальных торжественных позах. В зрительном зале сидело не больше десяти человек. Все зааплодировали. Все, кроме заведующего отделом культуры Вениамина Волкова. Он сидел не шевелясь и смотрел на голубоглазую солистку. В ушах его гремело: «Таня Костылева. Таня Костылева...»

– Дикий ты какой-то, Волков, – пожала пухлыми плечами Галина, – хоть бы сдвинул ладошки-то разок!

«Русская кадриль» была последним номером концерта. Теперь членам комиссии горкома ВЛКСМ предстояло пройти в кабинет директора Дворца пионеров для чаепития и обсуждения программы концерта.

– Ну, что скажете, комсомол? – спросил директор, усаживаясь во главе щедро накрытого к чаю стола. – Угощайтесь, товарищи, самоварчик горячий. Вам как, Вениамин Борисович, покрепче чайку?

«Мертвые не воскресают, – думал Веня, машинально кивая директору, – я не сошел с ума. Все просто. У Тани Костылевой был родной брат, кажется, его звали Сергей. У этого Сергея вполне может быть дочь такого возраста. И он вполне мог ее назвать в честь своей погибшей сестры Татьяной. Ничего удивительного, что девочка так похожа на ту Таню. Вовсе ничего удивительного. Это ведь достаточно близкое родство».

– Вениамин, вам нехорошо? – тихо спросила его пожилая руководительница танцевального ансамбля. – Вы очень бледный.

– А? Что? – спохватился он. – Нет, со мной все нормально.

«Так нельзя, надо держать себя в руках, – подумал он, улыбаясь через силу, – это может плохо кончиться».

– Концерт замечательный, – громко сказал он вслух, – особенно хорош танцевальный ансамбль. Галя права, ребят надо вывозить на областные конкурсы, и даже в Москву можно. Хор совсем неплох, но, мне думается, кроме революционных и пионерских песен, можно ввести одну какую-нибудь веселую, детскую, особенно когда выступает младшая группа. Что касается чтецов, то их лучше одеть нарядней. Слишком уж они у вас строгие. Все-таки концерт праздничный. Пожалуй, замечаний больше нет.

Он одарил присутствующих своей обаятельной белозубой улыбкой.

После чаепития комиссия в сопровождении директора прошла по всем пяти этажам Дворца. Директор демонстрировал оформление к празднику и наглядную агитацию.

Дверь в актовый зал была приоткрыта, оттуда в проходивших ударила оглушительная волна рок-н-ролла. Заглянув, они увидели на сцене Таню Костылеву. В коричневом школьном платье, без черного фартука, она отплясывала бешеный танец под знаменитую композицию Элвиса Пресли. Ее партнер, высокий стройный мальчик в синих школьных брюках и клетчатой ковбойке, крутил и перекидывал ее легко, как пушинку. Распущенные пепельные волосы взлетали и рассыпались по грубому коричневому платью, падали на тонкое раскрасневшееся лицо. Чуть выпятив яркие губы, девочка машинально сдувала волосы со лба.

– Я надеюсь, это вы не собираетесь включать в концертную программу? – усмехнувшись, спросил Волков директора Дворца пионеров.

Та, другая Таня, родная тетя солистки, тоже здорово танцевала. У нее тоже были ярко-голубые глаза и длинные густые пепельно-русые волосы. В классе она считалась самой красивой девочкой. А Веня Волков был гадким утенком, и только в девятом что-то с ним произошло.

Он вырос за одно лето на семь сантиметров. Плечи стали широкими, голос сделался низким, по-настоящему мужским. Он начал бриться. Он с удивлением обнаружил, что на него заглядываются девочки.

Успехом у одноклассниц пользовались двоечники, прибалтанные хулиганы. Они были яркими, мужественными, отчаянно храбрыми. Они курили, пили портвейн, сплевывали смачно сквозь зубы, матерились через слово, никого и ничего не боялись.

Отличников и тихонь презирали. А Веня Волков был отличником и тихоней. Но он был очень сильным физически, он мог дать отпор любому прибалтненному лбу. В девятом классе уже никто не смел презирать Веню. Слишком хорошо он дрался.

Таню проиграл в карты настоящий блатарь, не школьник, а только что вернувшийся из колонии Вова Сизый. Он подстерег девочку вечером в темном переулке. Веня Волков оказался рядом совсем случайно.

Еще ничего не произошло, Таня и Сизый стояли и разговаривали. Веня сразу узнал тонкий силуэт с длинной косой.

Всегда, когда он смотрел на Таню, у него пересыхало во рту, а руки инстинктивно сжимались в кулаки. В двенадцать лет он не находил этому объяснения, а сейчас, в шестнадцать, был уверен, что прекрасно разбирается в собственных чувствах.

Если бы кто-нибудь сказал ему: «Волков, она тебе нравится, ты в нее влюблен!» – он рассмеялся бы идиоту в лицо. Нет таких чувств, не существует их в природе. Есть инстинкт, влечение полов, как во всем остальном животном мире. Это похоже на голод, только сильнее и острее.

Вполне естественно, что каждый самец стремится спариться с красивой и здоровой самкой. Если такой нет рядом, то подойдет любая. Но когда можно выбирать, почему бы не предпочесть лучшую?

Однако просто так, задаром, ничего не бывает. В животном мире лучшая самка достается самому сильному.

– Веня! Веня Волков! – Танин голос звучал испуганно и умоляюще.

Он сделал шаг в их сторону. Огромная лапа Сизого легла на Танино плечо. Прежде чем что-либо сообразить, Веня уже скидывал эту лапу с худенького плеча, а через минуту завязалась жестокая молчаливая драка.

Сизый дрался отчаянно, но физически был слабее Волкова, менее ловок и увертлив. Веня довольно быстро уложил блатаря на обе лопатки, отделавшись рассеченной губой и разбитыми костяшками пальцев.

Теперь они с Таней Костылевой «дружили». В десятом классе было несколько таких парочек. Ритуал этой школьной «дружбы» состоял в том, что мальчик и девочка гуляли по улицам, ходили в единственное в городе кафе-мороженое, сидя в последнем ряду кинотеатра, тискали друг друга и целовались, пытая и не смея зайти дальше запретной черты, которая была определена вполне конкретно: ниже пояса.

Веня понимал, что жгучие подробности о «телках-метелках», которые смакуются однокурсниками на пустыре за школой под портвешок и сигаретку, всего лишь плоды болезненных юношеских фантазий. Когда какой-нибудь прыщеватый сердцеед таинственным шепотом вещал о своей очередной победе, Веня еле сдерживал презрительный смех.

«На самом деле, – думал он о восторженном рассказчике, – ты невинен, как новорожденный ягненок. Во-первых, тебе негде этим заниматься. Ты живешь в коммуналке с фанерными стенами, вас там пятеро в одной комнате, и твоя вредная бабка постоянно дома. Во-вторых, у тебя лицо в прыщах и изо рта воняет. И в-третьих, ты все рассказываешь неправильно. Уж я-то знаю».

Вене казалось, что после истории с пухленькой Ларочкой он знает все...

Хотя сам он жил не в коммуналке, вредной бабки не имел и родители его целыми днями пропадали на работе, у него с Таней Костылевой возникла масса проблем. Она никак не хотела приходить к нему домой и к себе не приглашала.

– Понимаешь, Венечка, – говорила она, – ты мне очень нравишься. Но всему свое время. Сначала надо как следует узнать друг друга, пойдем лучше просто погуляем, поговорим. И потом, вдруг твоя мама случайно придет с работы, ты не обижайся, но я ее боюсь немножко. Она такая строгая у тебя, такая правильная.

Зимой по сибирскому городу особенно не погуляешь. Иногда грелись в кинотеатре, иногда в подъездах. Каждый раз, оставаясь с ней наедине, Веня жадно впивался ртом в ее мягкие солоноватые губы, пытался проникнуть горячими, даже на лютom морозе, ладонями под кроликовую шубку, под толстый вязаный свитер. Она сопротивлялась, но лишь слегка, для приличия.

– Не надо, Венечка, ну не надо, – говорила она, прильнув к нему всем телом и подставляя губы для поцелуя.

Ему иногда становилось противно: она тоже врала, как все, прикидывалась недотрогой. Она нарочно возбуждала его, томила, заставляла пыхтеть и тяжело дышать. Он начинал ненавидеть ее в такие минуты, ему хотелось сделать ей больно, очень больно, чтобы она стала брыкаться и извиваться в его руках, как когда-то пухленькая Ларочка. Ему часто снилось, как он наваливается на Таню, придавливает к земле, сдирает одежду.

Ему бывало страшно даже во сне. Его сжигал изнутри тяжелый, звериный голод, он чувствовал, что если не утолит его, если не сделает очень больно самой красивой девочке в классе Тане Костылевой, то умрет, сгорит изнутри.

Все вокруг думали, что у них с Таней любовь. И она так думала. Только один Веня знал, что на самом деле люто ненавидит свою нежную подружку.

Он ждал весны, тепла, когда можно будет гулять вечерами в диком парке над Тоболом. Чем доверчивей и нежнее была с ним Таня, тем сильнее он ее ненавидел. ... Если бы кто-нибудь спросил его: «За что?» – он не сумел бы ответить. И самому себе он не собирался отвечать на этот разумный вопрос. Его лютый голод был важнее любых вопросов.

Он ждал, затаившись, как зверь перед прыжком, терпеливо сносил Танину страсть к общепринятым ритуалам и сопливым сказкам про любовь до гроба. Он интуитивно боялся спугнуть глупенькую романтическую девочку.

– Венечка, ты меня любишь? – спрашивала она таинственным шепотом.

– Да, Танечка, я тебя очень люблю, – нежно выдыхал он в ее маленькое розовое ушко.

– Венечка, ты самый лучший, самый сильный, я ужасно тебя люблю. – Светловолосая головка утыкалась ему в плечо, легкая ладошка нежно сжимала его горячие пальцы. ...

Весна в Тобольск приходила поздно, но всегда бывала бурной и быстрой. Ледоход на Тоболе и Иртыше шел величественно, празднично. В ясные дни крупные медленные льдины причудливо преломляли солнечный свет, дробились в черной тяжелой воде, и на месте разломов иногда сверкала яркая радуга.

Потом начиналось половодье, две царственные сибирские реки, сливаясь в старом городе, выходили из берегов, вместе с первыми настоящими майскими дождями смывали остатки снега. Но в тайге, в низинах, снег мог лежать и до июня.

До конца июня, до выпускного вечера, Таня Костылева играла в свои романтические игры. Она никак не соглашалась пойти гулять далеко, в дикий парк над Тоболом.

– Ты такой горячий, Венечка, – говорила она, опуская свои ярко-синие глаза, – вот не сдержимся мы с тобой, вдруг я забеременею. ... А это рано пока, мы еще сами дети. Нам надо дальше учиться.

На выпускной вечер принесли много водки. Прячась от бдительных учителей, пили по очереди, запираясь в кабинете химии. Девочки пили меньше, пригубив из стакана, проходившего по кругу, морщились и спешили закусить «черняшкой».

– Разве так пьют? – засмеялся Волков, возвращая Тане полный стакан, к которому она даже не притронулась. – Отхлебни нормально, выпускной бывает раз в жизни. Ну, давай, за мое здоровье. Ты ведь не маленькая уже, к тому же сибирячка.

Таня поддалась на уговоры. Она никогда раньше не пила водки, ей было весело, экзамены позади, она сдала их на пятерки. Сегодня праздник, значит, надо выпить.

Зажмурившись, она залпом выпила полстакана. Горло сдавил колющий спазм, водка не хотела проходить дальше. Таня закашлялась, Веня тут же сунул ей в рот кусок хлеба с соленым огурцом. Она зажевала, сразу стало легче.

– Ну, хорошо пошла? – улыбнулся Веня, взял из ее рук стакан и допил оставшуюся половину.

Потанцевав еще немного в актовом зале, они потихоньку убежали в парк. Ночь была теплая и ясная. В таинственной тишине позванивали комары, поскрипывали толстые стволы ста-

рых кедров. Опершись на Венину руку, Таня сняла нарядные лаковые туфли и пошла босиком по ночной росе.

Они шли все дальше вдоль берега Тобола. Было полнолуние. Широкий слоистый столб лунного света мягко покачивался на спокойной речной воде. Вокруг не было ни души.

– Венечка, а ведь я пьяная, – весело сказала Таня, – у меня голова кружится. Зачем ты заставил меня эту проклятую водку пить? Никогда больше не буду...

– Хочешь, искупаемся? – предложил он. – Мигом хмель пройдет.

– Но у меня же нет купальника...

– Зачем тебе купальник? Кого ты здесь стесняешься? Это же кайф – купаться голышом.

– Как это – кого стесняюсь? Тебя, конечно. – Она засмеялась. – И вода холодная...

Он притянул ее к себе и нащупал руками «молнию» нарядного выпускного платья.

– С ума сошел? Пусти! – Она попыталась выскользнуть из его рук.

«Молния» заела, в ней застряла пряжка, выбившаяся из длинной косы. Он дернул изо всех сил.

– Что ты делаешь? Больно же! – Таня все-таки вырвалась, но всего на секунду.

Он сразу же обхватил ее руками и повалил на мокрую траву.

– Веня, Венечка, не надо...

Он быстро и ловко стянул с нее платье и так же, как когда-то Ларочке, зажал ей рукой рот и нос. Она замычала, дернула головой, он почувствовал под своей ладонью теплое дыхание из ее ноздрей.

Он крепче прижал руку к ее лицу. Она поцеловала его ладонь и тут же с силой оторвала ее от своего лица.

– Венечка, не надо, я так не могу дышать. Поцелуй меня, – прошептала она.

Он стал жадно целовать ее длинную упругую шею, тонкие, чуть выступающие ключицы. От ее кожи пахло не дешевыми духами, а ландышем и горьковатой хвоей. У Вени сильно стучало сердце, он чувствовал, что так же быстро и сильно стучит ее сердце.

«Сейчас все будет как у всех, все будет нормально, голод пройдет, – неслось у него в голове, – она очень красивая, она меня любит... Я нормальный парень, все будет как у всех...»

Но глаза заволокло черной пеленой, словно кто-то накрыл его сверху глухим, непроницаемым колпаком. Тело больше не подчиняется воле и разуму. Своей, отдельной жизнью жили его руки, и он не понимал, что они делают.

– Перестань, мне больно! – неожиданно выкрикнула девочка.

Его руки не могли остановиться. Они сжимали маленькую твердую грудь, ногти впились в тонкую кожу.

– Веня, перестань! Мне очень больно!

Она кричала слишком громко, ее крик неприятно резал слух.

– Тихо, тихо... Это должно быть больно, я знаю, – быстро заговорил он, – это всегда больно.

– Нет, я так не хочу, так нельзя. Ты сумасшедший!

Она попыталась вырваться. Он сам не заметил, как сдавил ладонями ее тонкую шею. Она пробовала оторвать его руки, пыталась ударить его коленом. Это было похоже на схватку двух разъяренных животных, бьющихся не на жизнь, а на смерть.

Краешком уходящего человеческого сознания Веня понял, что именно этого он хотел, именно этого ждал – не любовной страсти, а смертельной...

Таня Костылева была сильнее Ларочки. Ему пришлось закутать ее голову валявшимся рядом выпускным платьем. Платье было из плотного белого кримплена, оно не пропускало воздуха.

Гибкое крепкое тело под ним дергалось и билось, но он уже ничего не соображал. На него нахлынула волна острого, дикого наслаждения. Ему казалось, что в него вливается какая-то новая, ослепительная, непобедимая сила.

По телу девочки пробежала крупная дрожь, пронзив его насквозь вспышкой молнии. Он почувствовал, что сейчас с каждым движением, с каждым вздохом он становится сильнее. Он делается почти бессмертным, утоляя свой лютый, звериный голод...

Он не знал, сколько прошло времени. Насытившись, опомнившись, он размотал кримпленовое белое платье, и в лунном свете прямо на него глянули неподвижные ярко-голубые глаза.

Он испугался. Неужели он хотел именно этого? Неужели только так можно накормить жадного зверя, живущего в его душе? Таня больше не дышит, зато сытый зверь может теперь дышать полной грудью.

Ослепительная непобедимая сила, влившаяся в него сейчас, была жизнью Тани Костылевой. Так, и только так он мог утолить свой лютый голод. Иного способа не дано. Она сама виновата, она томила и мучила его столько времени, она разжигала в нем ненависть, играла с ним в свои мерзкие, лживые, романтические игры...

Зачем она без конца говорила, будто любит его? Нет никакой любви, все ложь и лицемерие. Никто никого не любит. Если он не нужен даже родной матери, то какое дело до него этой чужой девочке? Зачем она играла с ним в эти игры?

Он почувствовал, что по щекам текут горячие, горькие слезы. Он плакал от жалости, но не к убитой девочке, а к самому себе, маленькому послушному мальчику, которого никто не любит и которому все врут. От слез стало легко и хорошо. В голове прояснилось.

Быстро оглядевшись, он натянул на теплое еще тело трусы, поправил лифчик, машинально отметив, что белье не порвано. И ссадин на теле нет – во всяком случае, при лунном свете незаметно.

Потом он аккуратно повесил белое платье на ствол поваленной березы, нашел и поставил рядом нарядные лаковые туфли. Раздевшись, оставив свои вещи тут же, на стволе, он потащил тело к реке, толкнул в воду, прыгнул сам и не спеша поплыл к середине реки, на глубину, подныривая под тело, таща его за собой.

В памяти возник ряд картинок с большого фанерного стенда на городском пляже, наглядно показывавших, как лучше вытаскивать утопающего из воды, как его удобней поддерживать. Он старался делать все, как на тех картинках, только тащил тело не к берегу, а от него.

Вода действительно была холодной. Он подумал, что надо быть осторожней в середине, на глубине. Там сильное течение, если сведет ногу, можно утонуть.

Многие тонут в Тоболе, особенно те, кто хорошо плавает. Обычно утопленников ищут очень долго, течение уносит их к широкому Иртышу, вдоль берегов тянется глухая тайга. Иногда вообще не находят...

Только хороший пловец сумеет доплыть до середины и вернуться обратно. Веня Волков плавал отлично. И Таня Костылева тоже неплохо. Это знали все.

Когда он вылез наконец на берег, у него стучали зубы от холода. Не одеваясь, в одних трусах, он пошел к выходу из парка. Пошел очень быстро, потом побежал...

Мокрый, продрогший выпускник школы номер пять, отличник, самый тихий и послушный мальчик в классе, Вениамин Волков вбежал в отделение милиции. Он был в одних трусах, по щекам его катились слезы, глаза были полны отчаяния.

– Помогите! – выкрикнул он. – Пожалуйста, помогите! Танечка утонула! Мы плыли вместе, было темно, мы разговаривали, потом она замолчала. Я посмотрел, а ее нет рядом. Я нырнул, искал...

Он больше не мог говорить. Его душили рыдания.

Тело Тани Костылевой нашли через две недели далеко от города, в Иртыше...

Завотделом культуры горкома комсомола вспомнил, что оставил свои сигареты в кабинете директора Дворца пионеров. Возвращаясь, он услышал музыку из актового зала. Звучала песенка из какого-то старого, довоенного американского фильма. Солистка хореографического ансамбля Таня Костылева не спеша отбивала классическую чечетку на сцене. Ее стройный партнер в ковбойке старательно повторял за ней каждое па.

– Нет, еще раз давай! Опять не так! – говорила она.

Легкие ножки в черных чешках летали над дощатым полом как бы сами по себе, безо всяких усилий, легко и весело.

«Мертвые не воскресают...» – подумал Волков, тихонько прикрыл дверь актового зала и зашагал по коридору к кабинету директора Дворца пионеров за своими забытыми сигаретами.

Глава 6

Москва, март 1996 года

Лена складывала вещи мужа в большую спортивную сумку. «Микрик» с Петровки должен был подъехать через два часа. В соседней комнате Сережа укладывал Лизу и в пятый раз читал ей первую главу «Винни-Пуха». Лиза почему-то не хотела слушать дальше, как только глава подходила к концу, требовала читать сначала. Спать она вовсе не собиралась, хотя было уже одиннадцать.

– Папочка жж-ж! – сказала она, печально вздохнув.

Ей никто не сообщал, что папа улетает, она догадалась сама.

– Я очень скоро вернусь, – успокаивал ее Сергей, – что тебе привезти, Лизонька?

– Пух! Лизе надо Пух!

– Ты хочешь Винни-Пуха? Плюшевого медвежонка?

– Да, – серьезно кивнула Лиза.

– Большого или маленького?

– Большого, – сообщила Лиза басом и выразительно развела руками, показывая размер медвежонка. – И маленького, – подумав, добавила она тоненьким голоском.

– А спать ты сегодня собираешься? – осторожно поинтересовался Сергей.

– Папочка жж-ж! – Лиза сделала нижнюю губу подковкой, уголками вниз. Это означало, что сейчас раздастся торжественный рев. Предотвратить его можно было только одним способом – взять ребенка на руки и походить по комнате. В тот момент, когда Сергей подошел с Лизой на руках к окну и стал показывать ей, как красиво сияют огоньки в темноте, в комнату заглянула Лена.

– Вот так, значит, мы засыпаем, – покачала она головой.

– А мы вообще не собираемся спать, – безнадежно сообщил Сергей, – у нас родители неправильные, никакой строгости.

– Ладно, тогда пошли посмотреть, как у папы сумка уложена, – вздохнула Лена. – Вдруг неправильная мама забыла положить неправильному папе что-нибудь важное?

Сумку проверили и чаю попили, а Лиза все не собиралась спать: разве можно уснуть, когда папа улетает?

– Скажи, пожалуйста, – задумчиво спросила Лена, – если человек – правша, станет он сам себе колоть наркотик в правую руку, да еще в кисть?

– Ну, если на обоих локтевых сгибах нет живого места, если все вены на запястье и кисти левой руки тоже исколоты, тогда он может попробовать. А что?

– На левой кисти никаких следов нет, только на правой. Локтевые сгибы я не видела, но сомневалась, что там нет живого места.

– Ты опять об этом Мите? – вздохнул Сергей.

– Да, Сереженька, я опять о нем. Я почему-то не могу не думать об этом. Я заметила царапины на его правой руке, и эти точки, следы от иглы, а потом его жена уверяла, будто он вообще никогда не кололся, наркотики терпеть не мог. Теперь все. Кремировали Митю. Но есть результаты вскрытия. Ольга умудрилась как-то, чтобы вскрытие сделали без очереди. Взятку, что ли, дала.

– И что?

– То самое. Высокая концентрация в крови. Чего именно, не помню, но какого-то мощного наркотика. И ампулы со шприцами по всей комнате валялись.

– Ты знаешь, сколько сейчас нераскрытых убийств по Москве? – Сергей поудобней уложил Лизу у себя на коленях, она уже дремала.

– Ну, примерно представляю, – кивнула Лена.

– Мы же все с тобой обсудили, не стоит идти по второму кругу, да еще за сорок минут до моего отъезда.

– Не стоит, – согласилась Лена, – и все-таки эти царапины на правой руке не дают мне покоя.

Сергей отнес уснувшую наконец Лизу в кроватку. Вернулся на кухню, обнял Лену и, припав губами к ее виску, прошептал:

– У нас с вами еще полчаса, уважаемая миссис Марпл.

Оперуполномоченный Миша Сичкин решил вызвать фотомоделю Веронику Роговец, проходившую главной свидетельницей по делу об убийстве певца Юрия Азарова, в кабинет на Петровку для очередного допроса.

Первые два допроса велись у Вероники дома, где она почему-то постоянно разгуливала в сомнительном неглиже – прозрачном кружевном пеньюарчике огненно-алого цвета, под которым не было ничего, даже трусиков. Вероятно, нашумевший фильм «Основной инстинкт» произвел на свидетельницу сильнейшее впечатление, она вела себя на допросах точно так же, как главная героиня эротического триллера в исполнении Шарон Стоун, то бишь томно прикрывала глаза, небрежно закидывала ногу на ногу, произносила неуклюжие двусмысленности. Например, на вопрос Сичкина «Как вы провели вечер накануне убийства?» она красиво повела плечами и, выпитив пухлую нижнюю губку, сообщила:

– Вы хотите знать, чем мы занимались? Любовью! Я могу рассказать подробности, если это поможет следствию.

Даже голосом она пыталась подражать секс-символу Америки, и все ее мысли были заняты исключительно этим: похоже у нее получится или нет?

Миша, повидавший многое на своем оперском веку и отвыкший удивляться, все-таки слегка недоумевал, почему девушка ну ни капельки не реагирует на столь внезапную и трагическую смерть своего любовника в своей квартире, почему ей совсем даже неинтересно, кто застрелил Азарова, и вообще, все по фигу, кроме того впечатления, которое ее ослепительная красота производит на окружающих. Но, наверное, и это ей по фигу, она даже не замечает, что на мрачного опера Мишу Сичкина ее щедрые прелести не производят должного впечатления.

– У кого, кроме вас и Азарова, были ключи от вашей квартиры? – устало спрашивал Миша.

– Ключи от квартиры фотомодели – это серьезней, чем ключи от квартиры, где деньги лежат, – низким грудным голосом произнесла Вероника и зелеными глазами с поволокой уставилась на опера, ожидая, какое впечатление произведет ее тонкая шутка.

– Вероника Ивановна, давайте попробуем припомнить, у кого могли быть ключи. Вполне вероятно, что они оказались у убийцы. – Миша тяжело вздохнул и закурил.

– Но ведь он же убил Юрку, какая теперь разница? – Свидетельница медленно помахала ресницами.

После беседы с фотомоделю Миша Сичкин взмок, будто вагоны разгружал на сорокаградусной жаре. Вызывая свидетельницу на Петровку, он надеялся, что казенная обстановка и невозможность явиться в неглиже подействуют на томное создание хоть немного отврезвляюще.

Она явилась с получасовым опозданием. На ней были алые кожаные плавки, черные ажурные колготки и черная газовая, совершенно прозрачная блузка, надетая на голое тело, к тому же расстегнутая до пупка. Предупредив ее официально об ответственности за дачу ложных показаний и дав подписать соответствующий документ, Миша начал все сначала:

– Как вы провели день и вечер накануне убийства?

– Ну, я же говорила, мы трахались, – недоуменно подняла тонкие брови Вероника, – я же вам все рассказала.

– Хорошо, вечером вы занимались любовью с убитым, это мы выяснили.

– Подождите! – Красотка протестующе подняла руку с длинными алыми коготками. – Как можно заниматься любовью с убитым? Это ведь некрофилия! Вы что-то путаете, господин следователь.

– Вероника Ивановна, у меня складывается впечатление, что вы отказываетесь давать свидетельские показания.

– Разве? – ослепительно улыбнулась она. – Я ведь отвечаю на все ваши вопросы.

– Пока вы не ответили ни на один из моих вопросов, – мягко напомнил Миша.

– Да что вы! – испуганно всплеснула ручками фотомоделю. – Так чем же мы с вами занимаемся столько времени?

– Чем? Я пытаюсь допросить вас как свидетельницу убийства, а вы устраиваете балаган. Не думаю, что убийство вашего любовника в вашей квартире – подходящий повод для веселья и демонстрации ваших женских прелестей. В общем, так, Вероника Ивановна, либо вы ведете себя прилично и отвечаете на все мои вопросы как положено, либо пишете официальное заявление об отказе от дачи показаний.

– Если я вас правильно поняла, вы мне угрожаете? – В красивых зеленых глазах фотомодели Сичкин заметил такую лютую, ледяную ненависть, что ему даже не по себе стало. Он вдруг понял, что эта кукла ведет с ним себя так потому, что он никоим образом не реагирует на ее неземную красоту. Это происходит помимо ее воли, просто все люди на свете делятся для нее на тех, «кто клюет», и тех, кто остается равнодушен. Последние для нее – враги, в любой ситуации, вопреки всякому здравому смыслу. Так уж устроена она, томная хищная кошечка, и винить ее в этом нельзя. А вот он, опер Миша Сичкин, дурак, ибо сразу мог бы сообразить, в чем дело. Неужели и правда все так просто? Или нет? Впрочем, это можно сейчас же проверить.

– Вероника Ивановна, – Миша вздохнул и покачал головой, – вы не хотите понять одну простую вещь. Чем скорее мы найдем и возьмем убийцу Азарова, тем спокойней будет вам в первую очередь. Вы молоды, очень хороши собой, у вас вся жизнь впереди. А где-то бродит убийца, побывавший у вас дома. Откуда мы знаем, не явится ли он еще раз – уже к вам лично...

– А зачем? – Зеленые глаза смотрели уже чуть спокойней и приветливей.

– Зачем – это совсем другой вопрос... – загадочно улыбнулся Миша. – Мне страшно за вас, Вероника Ивановна. Вот я смотрю на вас и думаю: бывают на свете такие чудеса, такие ослепительные, потрясающие женщины. Очень обидно и тревожно, когда рядом, где-то совсем близко, бродит мразь, убийца, способный в любую минуту одним движением стереть и уничтожить эту красоту.

«А ты поэт, Мишаня! – поздравил себя Сичкин. – Сейчас поглядим, действительно она такая идиотка, или только прикидывается? Разумеется, для нее было бы лучше оказаться идиоткой, в ином случае ее поведение объясняется только тем, что она либо знает убийцу и с самого начала делает все возможное, чтобы он не был найден, либо... впрочем, у нее серьезное алиби, ее в парке Победы видело несколько человек, постоянных бегунов и собачников. И мотива нет никакого. Пока, во всяком случае, мотив не маячит на горизонте».

– Но я правда не помню, у кого могли быть ключи! Я такая рассеянная, забывчивая. Я вообще теряла их сто раз. – Вероника обезоруживающе улыбнулась.

Да, лед, безусловно, подтаял. Она купилась на грубую лесть, но на вопросы все равно отвечать не собиралась.

«Ладно, – решил Миша, – попробуем в последний раз раскрутить ее, если не выйдет, надо ставить к ней наружников. Из свидетеля она так и лезет в фигуранты. Интересно, соображает она, что делает, или нет?»

– Я понимаю, что тема ключей нам обоим до смерти надоела, – ласково сказал Миша, – но давайте уж покончим с ней. Попробуйте все-таки вспомнить, когда вы теряли ключи и меняли ли после этого замок.

– Кажется, меняла. А может, и нет. – Вероника нахмурила низкий лобик под пышной челкой, старательно вспоминая. – Понимаете, я с детства не могу фиксироваться на всех этих бытовых мелочах. Они от меня отскакивают, как мячики. Я еще в школе всегда все забывала, то тетрадь, то учебник. У меня даже комплекс созрел, чуть крыша не поехала – все время боялась, что забыла какую-нибудь фигню. Но потом я стала заниматься с хорошим психотерапевтом, и меня научили, как бороться с этим комплексом. Память не улучшилась, я все равно все забываю, но теперь мне это по фигу.

– А с каким психотерапевтом вы занимаетесь? – Миша улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку стула.

– О, это замечательный доктор, она лечит всякие сложные психологические комплексы, у нее даже шизики становятся нормальными, без лекарств. Знаете, все эти психотропные препараты, они такие вредные, вредней наркотиков. А в шоу-бизнесе столько психов! Но, боюсь, для вас это будет дорого, – она лукаво улыбнулась, – вы ведь для себя спросили?

– Умная вы женщина, – развел руками Сичкин, – вас не проведешь. Я действительно спросил для себя. При моей сволочной работе хороший психотерапевт необходим. А то, не ровен час, шарики за ролики заедут. Телефончик не дадите?

– Не дам, – покачала головой Вероника, – дорого это для вас, да и вряд ли она возьмет новых пациентов, у нее и так работы полно.

– Ну что ж, – вздохнул Мишаня, – обойдемся по нашей бедности и убогости и без психотерапевта.

«Проговорилась ты, матушка, – весело заметил он про себя, – а теперь, как Лиса Патрикеевна, хвостом следы заметаешь. Ладно, психотерапевт – это неплохая зацепка. Спасибо тебе, солнышко!»

– А Юрия Азарова она тоже лечила, эта добрая фея-доктор? – небрежно поинтересовался Миша.

– Юрий был нормальный, как пень, – вздохнула Вероника, – многие считали, ему даже не хватало этакой сумасшедшинки, душевного порыва, гусарских безумств.

«Оба-на! Вот мы и колемся потихоньку! – подумал Сичкин. – Точно, психотерапевта надо хорошо проверить, прежде чем допрашивать. Что-то нечисто с феей-доктором, и не она ли так ловко подготовила эту куклу к разговорам со мной? Очень интересно может получиться...»

– А вам, значит, нравятся гусарские безумства? – спросил он, послушно уходя в сторону от темы психотерапевта.

– Конечно! Без этого скучно. Я люблю размах, чтоб искры летели. А Юрка был жмот, пардон, конечно.

– Так, может, его за долги и убили? – предположил Сичкин и подумал, если сейчас она ухватится за это, то уж точно прыгнет из свидетелей в фигуранты.

– А за что же еще? – усмехнулась Вероника. – Я лично в этом не сомневаюсь.

– Так зачем же он вам был нужен, Вероника Ивановна, если вместо гусарского размаха у него были только долги? С вашей красотой вы могли бы найти кого-нибудь получше.

– Зачем нужен? – Она задумалась и приставила острый ноготок к губам. Лак на ноготке и помада на губах были одного цвета – ярко-красного. – Наверное, для разнообразия, – произнесла она мечтательно и чуть прикусила ноготок.

Выходя из здания Петровки и усаживаясь за руль своей новенькой красной «девятки», Вероника Роговец прокрутила в голове с начала до конца весь разговор с лохом-следователем и осталась собой довольна. Правильно сказала Регина Валентиновна, все они лохи по большому счету, к тому же перед Вероникиными чарами не устоял еще ни один мужик. Даже этот черствый мент, как ни старался, все равно потек в конце концов и съел всю туфту, которую она ему плела, за милую душу.

Один только был промах – ляпнула про Регину. Но спохватилась вовремя, перевела разговор на другую тему, имени не назвала, телефона не дала. Регина, правда, просила вообще о ней не заикаться, мол, психотерапевт сейчас – на вес золота, а уж мент наверняка ухватится, захочет на халяву пару сеансов получить. Прямо как в воду глядела Регина, ухватился этот Сичкин, губа не дура у него. Ладно, проскочили... Можно считать, и не ляпала ничего про Регину, мент наверняка не заметил даже.

А все-таки интересно, кто же Юрика-то замочил? Эти лохи-менты не найдут. За такую зарплату вообще ничего делать нельзя. Они и не делают, только взятки берут и ждут, когда какой-нибудь серьезный человек их купит. Видно, этого Сичкина еще никто не купил – кому он нужен?

Милицию Вероника Роговец не любила с детства. Лично ей не приходилось до последнего времени сталкиваться со стражами порядка, но она твердо знала: все они – суки и твари продажные. В ментуру идет одна лимита и дебилы, и разговаривать с ними – много чести. Может, сами они замочили Юрика, он ведь пел у Дрозда на дне рождения, а там были два дроздовских мента. Вот чтобы Юрик об этом не свистел, его и замочили.

Говорят, большинство киллеров – те же менты, либо по совместительству, либо вообще меняют свои жалкие погоны на это доходное, престижное и непыльное дело.

Хорошо она про долги ввинтила, в самую точку попала. Этот Сичкин с удовольствием наживочку сглотнул. Будет теперь упорно искать Юркиных кредиторов. Вот пусть и поищет!

На самом-то деле долгов у Азарова не было, он никогда ни у кого не брал и сам не давал. Он и правда был жмот. Вероника догадалась об этом не сразу, только после седьмой их встречи, когда ей до дрожи в коленках захотелось колечко с бриллиантом, как у Ирки Москвиной. Разумеется, она могла бы и сама себе подарить такое колечко, стоило оно всего полторы тысячи «зеленых». Но покупать себе бриллианты – плохая примета. Это коварные камешки, их надо получать в подарок или по наследству, иначе они приносят несчастье.

Про камни Вероника знала все, так как любила их без памяти. У нее дома была целая полка книжек о мистических и целебных свойствах камней. То, что бриллиант должен быть подарен любовником, – это азбука, так сказать, азы мистической грамотности. Об этом Вероника и сообщила Азарову, приостанавливая машину у ювелирного магазина «Принцесса Греза» на Тверской. Там можно было купить по кредитке, а у Азарова в бумажнике их было три штуки. Однако колечко он Веронике не купил, даже в магазин с ней не вошел, остался в машине, жмот паршивый, и не стыдно ему было ни капельки. Пришлось Веронике самой покупать, очень уж хотелось, а в магазине нашлось именно такое, как у Москвиной, даже лучше.

Наплевала Вероника на мистику и купила колечко. А Азарову этот случай запомнила, обиделась на него ужасно. Чуть не послала его подальше, но тогда нельзя было – она снималась уже в третьем его клипе, это были хорошие бабки, а впереди маячила видеокассета с его песнями и Вероникиными глазами, губами и сиськами, поэтому ссориться с Азаровым пока не стоило.

Эту проблему она даже с Региной обсуждала.

– Гусара раскрутить немудрено, – сказала Регина, – и неинтересно. А ты учись раскручивать Азарова. Отличный тренинг, тебе потом очень пригодится. Если Азаров начнет на тебя деньги тратить, то с другими ты справишься мизинцем. Так что рвать с ним не спеши.

Вероника была хорошей ученицей. С Азаровым она не порвала. А бриллиант принес-таки несчастье, но только не Веронике, которая его себе купила, а Азарову, который пожадничал. Убили Юрика. Карма у него оказалась плохая, некачественная карма. Но ведь не объяснишь же это долдону с Петровки, он и слов-то таких не знает.

Вот у нее, у Вероники, карма очень качественная, даже не высший сорт, а экстра. К тому же Регина Валентиновна, если что не так, сразу поправит. Она сама эти вещи чувствует, даже по телефону умеет вывести в астрал, когда нужно...

Глава 7

Синий «вольво» с затемненными стеклами плавно подкатил к воротам старинного купеческого особняка в центре Москвы. Ворота бесшумно разъехались, впустили машину и тут же замкнулись за ней.

– Добрый вечер, Регина Валентиновна! – Вооруженный охранник распахнул переднюю дверцу машины и подал руку высокой худощавой женщине, сидевшей за рулем. Женщина осторожно поставила ногу в замшевом высоком сапоге на землю и, опираясь на руку охранника, вышла из машины.

– Привет, Гена. В гараж пока не загоняй, я ненадолго.

Войдя в особняк, Регина Валентиновна скинула легкую норковую шубку на руки подопевшей горничной и осталась в строгом шелковом костюме. Из огромного зеркала в старинной, черного дерева, раме смотрела на Регину Валентиновну элегантная сорокалетняя дама с точеной длинноногой фигурой и идеально правильным лицом. Густые прямые волосы цвета спелой пшеницы были подстрижены простым строгим каре без челки и едва прикрывали стройную холерную шею.

В зеркале за ее спиной появилось очень бледное, немного отечное мужское лицо. Мужчина был белокур и встрепан, на впалых щеках поблескивала светлая вчерашняя щетина. Бледно-голубые ясные глаза глядели в спокойные карие глаза Регины Валентиновны как-то тупо и бессмысленно. Резко оглянувшись, она заметила, что руки мужчины крупно дрожат, на большом пальце правой руки был безобразный черный порез с только что запекшейся кровавой коркой.

– Тебе надо побриться, Веня, – тихо сказала она и, подойдя к мужчине, провела рукой по его щеке. На ногтях был бледно-телесный матовый лак.

– Регина, я погибаю, я не могу, – громким шепотом прокричал Вениамин Волков, – сделай что-нибудь, я не могу...

Быстро оглядевшись, убедившись, что ни горничной, ни секретарши, никого из охранников поблизости нет, Регина вмазала Вене крепкую пощечину и тихо произнесла:

– Молчать, скотина!

Вздрогнув, Веня сразу обмяк, руки перестали трястись, глаза приняли осмысленное, но испуганное и усталое выражение.

– Ты видишь, надо что-то делать! – сказал он вполне спокойным, будничным голосом. – Еще немного, и я сорвусь.

– Ну, до срыва, положим, далеко, – возразила Регина таким же спокойным, будничным голосом. Даже интонации у нее и у Волкова были одинаковыми.

– Нет, – безнадежно покачал он головой, – сегодня это чуть не произошло.

– Но ведь не произошло, ты сумел с собой справиться. Ты уже четырнадцать лет здоров. Это срок, Веня, серьезный срок.

Волков молча показал ей пораненный большой палец правой руки. Внимательно взглянув на испачканную черными чернилами и кровью подушечку пальца, Регина только пожала плечами.

– Ты мог бы обойтись и без боли, ты просто устал. Чем ты это? Ручкой?

– «Паркером», – кивнул он.

– Жалко, хороший был «Паркер», – вздохнула Регина, – ладно, поехали.

– Только в твоей машине! – слабо улыбнулся он. – Там в салоне воздух лучше.

– В «вольво» лучше воздух, чем в «линкольне»? – весело рассмеялась Регина. – Да, Веня, ты определенно устал.

Через час с небольшим синий «вольво» Регины Валентиновны Градской остановился у старой двухэтажной дачи в подмосковном Переделкине. Дом был огорожен высоким металлическим забором, внутри у ворот находилась теплая будка охранника.

– Опять дрыхнет, подлец, – добродушно заметила Регина, доставая из «бардачка» маленький пульт дистанционного управления и открывая высокие ворота нажатием кнопки.

Из будки показалась сонная физиономия охранника, потом он весь целиком выскочил на свет божий как ошпаренный и по старой ментовской привычке почтительно козырнул хозяйкам.

– Доброе утро, отставной капитан! – саркастически приветствовала его хозяйка. – Как спалось в девять вечера?

– Виноват, Регина Валентиновна! – отрапортовал охранник. – Ей-богу, сам не заметил, как уснул!

– Спасибо, что не в гостиной на диване, – добродушно хмыкнула Регина. – Ладно, можешь пойти на кухню, пусть Людмила покормит тебя, и кофе выпей, негоже спать на боевом посту, товарищ отставной капитан, гляди, уволю. Вот ведь, – обернулась Регина к молчавшему Вене, – боится место потерять, а дрыхнет, поганец, без задних ног.

Веня ничего не ответил и прошел вслед за ней в дом.

Дача эта когда-то принадлежала известному советскому писателю, сталинскому лауреату. Потомки орденоносца продали ее Волкову задорого, но ни он, ни Регина не жалели потраченных денег. Регина давно приглядела именно этот участок в тихом элитарном писательском поселке. Ей нравилось, что он стоит на углу, в глубине улицы, и упирается одной стороной в живописную березовую рощицу, а другой – в небольшой лужок, на котором летом невинно и радостно расцветают ярко-лимонные лютики.

– Сообрази-ка нам, Людмила, что-нибудь на ужин, – бросила Регина полной розовощекой девушке, встретившей их на пороге, – только сделай легкое что-нибудь, рыбки там, салатик.

– Поняла, Регина Валентиновна, севрюжку запечь или в гриле?

– Веня, ты спишь, что ли, – Регина прикоснулась к его плечу, – ты какую хочешь севрюгу – запеченную с грибами или в гриле?

– Я не голоден.

– Ладно, Людмила, пока их светлость ломаться будут, ты сделай в гриле, как я люблю, без соли и без соусов, только лимончиком sprysni. Ему еще картошечки молоденькой, немного, штучки четыре, отварить и сверху укропчиком посыпать. А мне, как всегда, только спаржу. И не вздумай класть сметану, а то я тебя знаю, тебе бы только пожирней меня накопить, бедную!

Когда кухарка удалилась, Регина окинула Волкова холодным оценивающим взглядом и тихо спросила:

– Ну что, горе мое, потерпишь, дашь хотя бы перекурить, или полчаса до ужина работать будем?

– Ты же сама видишь...

Она видела, губы его обметало белым тонким налетом, руки опять тряслись.

– Ладно, пошли, – кивнула она.

В бывшем писательском кабинете теперь вместо дубового письменного стола стоял маленький дамский секретер восемнадцатого века, а книжные полки были уставлены не сочинениями великих вождей, а томами Большой медицинской энциклопедии, книгами по психиатрии на четырех языках – русском, английском, немецком и французском, а также сочинениями Ницше, Фрейдя, Рерихов. Три стены, покрытые книжными полками от пола до потолка, пестрели исключительно философской, психологической и мистической литературой.

Взглянув на корешки книг внимательно, можно было заметить, что это – не коллекция нувориша-библиофила, а книги, в которые постоянно заглядывает хозяйка библиотеки.

Стянув замшевые сапожки, Регина уселась на низкую широкую кушетку, поджала под себя стройные ноги в тонких телесных колготках. Волков сел прямо на пол, напротив нее, и застыл, неотрывно глядя в ее карие глаза, странно мерцающие при свете настольной лампы.

– Сегодня они пришли ко мне, – начал он, – они пришли оттуда, из прошлого, даже песню пели такую же, как тогда, на берегу Тобола...

– Подожди, не напрягайся, мы еще не начали, – перебила его Регина. – Кто пришел?

– Две девушки, на прослушивание. Дуэт «Баттерфляй». Блондинка и шатенка, по восемнадцать лет каждой. Сначала я ничего не заметил, но, когда они запели романс, я вдруг увидел тех, из прошлого.

– Ты понимаешь, что это были не они? – быстро спросила Регина.

– Понимаю. Но мне страшно, что так все совпало: сначала тот парень, которого пришлось убрать, потом они... Я еле сдержался, ты ведь знаешь, как я держался все эти годы. Но когда появился тот парень...

– Его больше нет, – напомнила Регина.

– Как ты это сделала? Почему не хочешь говорить?

– Это сделала не я, он сам.

– Но ты была там? – Веня сильно сжал кулаки, острые костяшки пальцев посинели.

– Ты же знаешь, я была с тобой.

– Кого ты послала к нему?

– Я сказала, он сам. Если не веришь мне, поверь хотя бы официальному заключению, – она хохотнула, – там опергруппа, кажется, была, и вскрытие делали. Хватит об этом.

– А певец?

– Певца добила те отморозки, которые приходили к Дрозду на торжество. Все, Веня, хватит лирики. Ты и правда не в лучшей форме.

– Дай мне код! – осторожно попросил он.

– А сам? – Она лукаво улыбнулась. – Лень-матушка? Смотри, скоро будешь спать на посту, как отставной мусорок-капитанчик. Ладно, так и быть, поехали...

Волков закрыл глаза и стал медленно раскачиваться, сидя на ковре по-турецки. Регина заговорила низким монотонным голосом, исходящим откуда-то из живота:

– Ноги мягкие, тяжелые, теплые; мышцы расслабляются медленно, постепенно; руки остывают и тяжелеют; они теплые, но не горячие; кожа разглаживается, как поверхность моря; она мягкая и прохладная. Нет ни одной волны, ветер не дует, ты ничего не слышишь и не чувствуешь, тебе тепло и хорошо. Есть только мой голос, остальное – тишина, покой, небытие. Мой голос – это путь из небытия, ты идешь по нему, как по лунной дорожке, к свету...

Регина говорила все тише, Волков качался в ритме ее речи, потом стал дышать глубоко, медленно и редко.

– Веня, ты слышишь меня? – спросила она наконец.

– Да... – эхом отозвался он.

– Теперь вспоминай, осторожно, на ощупь. Не спеши и не бойся. Это был не ты, тебя там вообще не было, и бояться тебе нечего. Давай!

– Трое на берегу Тобола, в городском парке, – стал еле слышно бормотать Волков, – и я четвертый. Две девушки, блондинка и шатенка. Блондинка очень яркая, с голубыми глазами, немного полная. Такие выходили в кокошниках, с хлебом-солью, приветствовали крупных партийных руководителей. Шатенка тоже очень красивая, но по-другому. В ней чувствуется порода, таких расстреливали в восемнадцатом за одно только лицо, за излом бровей, за выражение глаз. Мой дед сразу узнавал буржуйскую, дворянскую кость, по рукам и по выра-

жению глаз. Дворянская кость тонкая, но прочная, дед рубал шашкой... Очень быстро и резко, мог разрубить надвое с размаху.

– Веня, не отвлекайся, красный командир ни при чем. Деда оставь в покое, – осторожно вмешалась Регина.

– Надменные глаза, – Веня слегка дернул головой, – насмешливые, темно-серые... Тонкие руки, длинная шея. Если бы она... Я не мог ничего поделаться. Я встал и пошел в глубь парка. Подвыпившая девочка в блестящей кофте отбилась от компании. В кофте были золотые нити, колючие и блестящие. Грубое прыщавое лицо, запах водки и пота... Я хотел потом прыгнуть в Тобол, прямо в одежде, на мне была кровь, я вонял чужим потом. Берег оказался слишком крутым, я стал искать пологое место. Но услышал их голоса совсем близко. Первым вышел ко мне тот парень, Митя. Он увидел кровь, но главное, он увидел мое лицо. Прошло ведь всего пятнадцать минут. Душа моя все еще была там, в глубине парка, и по лицу это было видно. Уже совсем рассвело, стояли короткие июньские ночи, рассвет был таким ярким, комары звенели.

Я не успел смыть кровь с одежды, я хотел, чтобы они подумали, будто я спяну упал в воду. Мы все четверо были немного пьяны. Когда подошли девушки, я уже сумел взять себя в руки, они ничего не заметили. Я сказал, что кровь пошла из носа, они переполошились, стали суетиться вокруг меня, подошли совсем близко...

Первую часть воспоминаний Регина знала наизусть. Ее муж был постоянен в своих подсознательных откровениях. Уже много лет к этому тексту, произносимому в состоянии глубокого гипнотического сна, не прибавлялось ни одной детали. И только совсем недавно появились некоторые существенные подробности.

– Он видел мое лицо, он все понял. Не сразу, после... – Голос Волкова звучал хрипло и монотонно. – И он догадался. Пусть даже через четырнадцать лет, но он пришел ко мне, он пришел за мной оттуда, а за ним – еще двое, и это значит, что мне никогда не дадут забыть...

– Его больше нет, – ласково напомнила Регина, – а девушки ничего не заметили тогда и не смогут вспомнить сейчас. Прошло четырнадцать лет, они стали зрелыми женщинами, они совсем другие, их, по сути, тоже нет больше.

– Их больше нет...

«Конечно, было бы лучше, чтобы их действительно не было, и не в переносном, а в самом прямом смысле, – подумала Регина, – но это хлопотно и рискованно, сначала надо понять, стоит ли игра свеч...»

– Вокруг тебя светится чистая, прозрачная вода, она легкая, теплая, приятно щекочет кожу, – произнесла она вслух хорошо поставленным, глубоким грудным голосом.

– Она красная от крови, – мучительно сглотнув, прошептал Веня, – она темно-красная, густая. Она кипит и пузырится, я захлебываюсь, покрываюсь волдырями. – Он стал дышать тяжело и быстро, хватал открытым ртом воздух, запрокинул голову, колотил вокруг себя руками.

– Регина Валентиновна! – послышался снизу голос кухарки. – Ужин готов!

Регина ничего не ответила, она знала – второй раз Людмила не позовет, так заведено в доме: если хозяйка сразу не спускается и не откликается, значит, она очень занята и мешать ей не следует.

Лицо Волкова побагровело, на лбу вздулись толстые синие жилы в форме ижицы. Он дышал хрипло, с присвистом, бил по воздуху руками и бормотал очень быстро нечто невнятное. Если бы кто-то мог видеть эту сцену со стороны, то подумал бы, что продюсер-миллиардер бьется то ли в эпилептическом припадке, то ли в предсмертной агонии, а его жена спокойно за этим наблюдает, смотрит оценивающе и серьезно. Он сейчас умрет здесь, на полу, а она и глазом не моргнет.

Но никто не наблюдал со стороны. Никому – ни кухарке, ни охраннику, ни садовнику – не пришло бы в голову хоть одним глазком заглянуть в таинственный полумрак хозяйкиного кабинета. Каждый чувствовал почему-то, что за это можно поплатиться головой, и страх был куда сильнее любопытства. Когда уже казалось, что Волков вот-вот испустит дух, Регина легко хлопнула в ладоши и произнесла одно короткое слово по-английски:

– Инаф! (Достаточно!)

Волков замер, сначала напряженно, в неестественной позе, с задранной головой, широко открытым ртом и вздернутыми кверху руками, потом стал оседать, медленно, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Дыхание его сделалось спокойней, медленней, лицо сначала резко побелело, потом приобрело нормальный, здоровый цвет.

Он открыл глаза, спокойно уселся на ковре. Даже при неярком свете настольной лампы было видно, что он выглядит не просто хорошо, а отлично, будто побывал на дорогом курорте – разве что загара не привез.

– Спасибо, Региша, – сказал он низким, бархатным голосом, галантно поцеловал прохладную руку жены, легко, пружинисто поднялся с ковра и, потирая чуть влажные ладони, спросил:

– Как там у нас насчет ужина?

Глава 8

Катя Синицына с раннего детства считала себя глубоко несчастным и невезучим человеком. Еще в детском саду ей попадало за чужие провинности, а уж в школе, с первого по десятый класс, неприятностям не было конца.

Училась Катя хорошо, особенно любила математику и физику. Одноклассники списывали у нее и домашние задания, и контрольные. Катя искренне верила, что делает хорошее дело, давая скатать пару-тройку задач по физике или математике. Она услужливо клала свою тетрадь с домашней работой на подоконник в школьном туалете, и за большую перемену успевало попользоваться ее добротой человек пять-шесть, то есть столько девочек, сколько помещалось со своими тетрадями на широком подоконнике женского сортира.

На контрольных, особенно четвертных и годовых, Катя успевала написать решения обоих вариантов под копирку и передать страждущим соседям. Впервые поймали ее на этом в восьмом классе. Маленький лысый физик в синем халате выставил ее вон из класса, стер оба варианта контрольных задач с доски, быстро написал новые.

Катю отвели к директору, вызвали родителей, в общем, наказали на полную катушку. Спасибо, из школы не выгнали. Кате казалось, что одноклассники должны оценить ее героизм и воздать должное за самопожертвование, но реакция была нулевая. Как не дружил с ней никто раньше, так и не собирался дружить.

Школа, в которой училась Катя, была лучшей в городе Хабаровске. Это была английская спецшкола, да еще с математическим уклоном. В нее могли попасть только дети из семей партийной и военной элиты. Катина мама была зубным врачом в ведомственной поликлинике, то есть к элите семья имела не совсем прямое отношение. В школу Катю приняли потому, что ее мама лечила зубы директору и завучу.

Элитарные дети с самого нежного возраста жили по особым законам. Люди делились для них на две части. Первая, и главная, включала в себя небольшую горстку избранных. Всех прочих они определяли презрительным словом «население». И слово это, и само понятие было, разумеется, заимствовано от родителей.

У населения, то есть большей и худшей части человечества, было все другое – и образ жизни, и мораль, и даже колбаса другая – бумажная, несъедобная и вредная. С колбасой в городе Хабаровске всегда было плохо, и население стояло за ней в длинных очередях. Элитарный ребенок, глядя на такую очередь из окошка папиной «Волги», только укреплялся в своем презрении к тем, кто не имел счастья принадлежать к тесному, уютному и сытому миру избранных.

С первого класса Катя чувствовала, что для своих одноклассников навсегда останется чужаком. Ее мама, стоматолог, была, так сказать, из obsługi. Дети первых и вторых секретарей обкома, горкома, отпрыски крупных профсоюзных чиновников и военачальников областного масштаба никогда не смогут считать равной себе какую-то «зубоврачебную дочь».

Она упрямо верила, что если будешь хорошей и доброй, то тебя будут любить, с тобой станут дружить. Какая разница, кто твои родители? Зубной врач – тоже не последний человек в городе. Вот ведь дружат же все с сыном директора главного городского гастронома! А он – двоечник и драчун.

В младших классах Катя приносила и раздаривала свои любимые игрушки. Ей нравилось делать подарки, но главное, ей хотелось, чтобы все поняли, какая она хорошая, добрая, щедрая девочка, и стали с ней дружить.

Некоторые ее дары снисходительно принимались, но большинство этих жалких пластмассовых пупсов и облезлых плюшевых зверей было отвергнуто с презрением. Зачем номенклатурным детям аляповатые неинтересные игрушки, которые выпускает местная игрушеч-

ная фабрика исключительно для населения? У номенклатурных детей были немецкие куклы с настоящими моющимися волосами, чешские плюшевые звери, пушистые, с выразительными мордочками.

Мама всегда учила Катю, что важен не сам подарок, а внимание. Но оказалось, Катино внимание не важно и не нужно никому из ее ровесников, и сама она никому не интересна, хоть лезь из кожи вон. Твоей услугой воспользуются, как будто ты просто выполнила свою прямую обязанность, и спасибо никто не скажет.

Кате очень хотелось, чтобы ее все любили. Ну, не все, так хотя бы некоторые. Ей казалось, что любовь одноклассников она сумеет заслужить, объясняя то, что они не понимают по физике, математике, давая списывать, угождая во всех прочих мелочах школьного быта. Она ждала, что они поймут наконец, какая она отзывчивая. Но никто не хотел понимать. Все ее услуги расценивались как должное, как нечто само собой разумеющееся. Катина мама лечит зубы, а Катя решает задачки и дает скатать.

Возможно, другой ребенок на Катином месте плюнул бы на своих надменных одноклассников, перестал бы таскать из дома игрушки в младших классах, не давал бы списывать в старших. А кто-то мог и озлобиться, люто возненавидеть не только элитарных детей, но и все человечество за такую упрямую нелюбовь к себе. Но Катя, чем старше становилась, тем глубже убеждалась в своей, и только в своей, неполноценности.

Когда она пыталась поделиться с мамой накопившейся обидой, мама строго обрывала:

– Ищи причину в себе! Подумай, почему никто с тобой не хочет дружить? Ведь ты не считаешь, я надеюсь, будто все плохие, а ты – хорошая?

Катя так не считала. Она все глубже верила, будто плохая именно она.

Перед выпускным вечером шел проливной дождь. Было очень грязно. Катя вышла из дома в белом невесомом платье, которое сама себе сшила к своему первому настоящему балу. Когда она бежала через школьный двор босиком, с зонтиком в одной руке и пакетом с белыми лакированными босоножками – в другой, мимо нее промчалась на полном ходу черная горьковская «Волга».

Фонтан грязи из-под колес окатил Катю с ног до головы. В грязи было не только белое выпускное платье, но и тщательно накрашенное лицо, и даже короткие рыжеватые волосы. А в «Волге» сидели два Катиных одноклассника.

Сын второго секретаря горкома выклянчил у отца разрешение подкатить к школе, к выпускному вечеру, на казенной машине, самому сесть за руль, а рядом посадить лучшего друга. Именно ради мальчика, сидевшего за рулем, ради мужественного широкоплечего секретарского сына и старалась Катя, шила ночами белое платье, вертелась три часа перед зеркалом.

Грязью ее облили не нарочно – просто лужи были глубокими, а она пробежала совсем близко. На выпускной вечер она не пошла, платье даже стирать не стала, просто выкинула, чтобы навсегда забыть об элитарной школе, о мальчиках и девочках, которые с ней не дружили.

С пятерочным аттестатом Катя отправилась в Москву и неожиданно легко поступила в МАИ. Теперь ее окружали вовсе не избранные, а вполне обычные ровесники. Однако опыт элитарной хабаровской спецшколы не прошел даром. Катя не умела нормально общаться с людьми, в каждом заранее подозревала презрение и неприязнь к себе. Даже с соседками по комнате в общежитии она не могла слова сказать в простоте, извинялась по сорок раз на дню, не смотрела в глаза собеседнику и заслужила репутацию «странненькой». Опять с ней никто не дружил – но уже не из-за того, что она была зубоврачебная дочка, а из-за ее непробиваемой замкнутости и зажатости.

С мальчиками у нее тоже не ладилось. На вечеринки она не ходила, а в институте ее попросту никто не замечал. Бродит тенью маленькое худенькое существо, прячет в плечи стриженую рыжеватую голову, ни с кем не разговаривает, а обратишься к ней – краснеет и отводит взгляд, будто в чем-то виновата. Если Кате и нравился какой-нибудь мальчик, то она скрывала

это изо всех сил, старалась как можно меньше попадаться ему на глаза, а попадаясь, сжималась в комок, становилась похожа на продрогшего облезлого воробышку.

Митя Синицын появился в ее жизни как гром среди ясного неба. Катя училась на третьем курсе. Перед Новым годом в клубе МАИ проходил концерт авторской песни. После концерта несколько выступавших воспользовались приглашением веселой компании студентов и отправились в общагу.

Катя лежала на своей койке, одна в пустой комнате, и читала Достоевского, «Дневники писателя». Она слышала, как поют и веселятся за стенкой, но ей это было все равно. Внезапно дверь открылась и на пороге возник высокий парень в черном свитере и в черных джинсах. Светлые выющиеся волосы были коротко подстрижены, ярко-голубые глаза глядели весело и ласково.

– Добрый вечер, – произнес он низким, бархатным голосом, – у вас хлебушка случайно нет? Вы уж простите за вторжение, меня послали как единственного трезвого.

Не дождавшись ответа, он пересек комнату и уселся прямо на Катину койку.

– Да, кажется, есть. – Катя попыталась прыгнуть с койки, но он удержал ее за руку.

– «Дневники писателя» читаете? Все пьют, а вы здесь потихонечку с Федором Михайловичем общаетесь? А почему на концерте я вас не видел?

– Я не ходила... – Катя все-таки прыгнула с койки, сунула ноги в тапочки. – Вам какого хлеба, белого или черного?

– Почему же вы на концерт не ходили? Не нравится вам авторская песня? – Он, казалось, уже забыл про хлеб.

– Почему? Нравится. Просто... Я хотела побыть одна, почитать.

Катя стояла посреди комнаты в разношенных огромных шлепанцах, в тонких колготках и длинном широком свитере.

– У вас всегда такие испуганные глаза? – спросил он, встал с койки, подошел к ней и взял за руку. – И руки такие холодные всегда? Меня зовут Дмитрий.

– Катя. – Она почувствовала, что краснеет.

– Очень приятно! А можно, я отнесу им хлеб и вернусь, посижу немного с вами?

Предложение было настолько неожиданным, что Катя ничего не ответила, просто еще глубже вжала голову в плечи, высвободила руку из его теплой большой ладони, скользнула к общему холодильнику и вытащила со своей полки пакет с половиной белого батона.

– Простите, черного, оказывается, нет, – пробормотала она, протягивая ему пакет.

Он вернулся через пять минут, неся в руках гитару.

– Вы не были на концерте, я хочу спеть для вас. Там, – он кивнул на стенку, за которой звучали хохот и веселые вопли, – там все пьяные и безумные. Возможно, мы с вами остались в гордом трезвом одиночестве во всем этом здании.

Он сел на стул, слегка подстроил гитару и стал петь для нее вполголоса свои песни. Катя слушала как зачарованная. Она не могла понять, хороши ли песни, она вообще ни слова не понимала, только смотрела в ярко-голубые ласковые глаза и боялась дышать.

Заглянула в комнату одна из Катиных соседок, многозначительно хмыкнула и тихонько прикрыла дверь снаружи.

За стеной продолжали веселиться, Митя пересел на скрипучую пружинную койку, отложил гитару, взял в ладони Катину руку и прижался ртом к ее напряженным, стиснутым губам.

В свои двадцать лет Катя целовалась впервые в жизни. Разумеется, то, что произошло дальше, тоже было впервые. Раньше она только читала об этом и видела в кино. Раньше она вообще как бы не жила, а все время смотрела кино про чужую жизнь. И книги читала. У других все было ярко и значительно. А с ней, невзрачной, забитой хабаровской девочкой, ничего подобного произойти не могло. Она давно смирилась с мыслью, что так и состарится, незаметной и никем не любимой, умрет старой девой, в тоскливом одиночестве.

Незнакомый мужчина, сильный, красивый, настоящий романтический принц, целовал ее медленно и нежно, со знанием дела. У Мити Синицына был солидный опыт общения с женщинами. Правда, такие, как Катя, ему никогда прежде не нравились. Он любил роковых женщин, зрелых, раскованных, искушенных. Его влекли стандартные красотки, про которых он сам говорил: «Женщина существует по формуле: ноги – грудь – губы. Если ноги длинные, грудь тяжелая и упругая, а губы полные, остальное не важно. Глаза, нос, волосы могут быть любыми. А уж мозги и вовсе необязательны».

К своим двадцати восьми годам Митя достаточно хорошо изучил женщин, созданных природой по этой грубой формуле. Про себя он знал, что на такой никогда не женится. «Нельзя жениться на куске севрюги! – объяснял он сестре Ольге, делясь с ней подробностями своей личной жизни. – Ну что делать, если мне нравятся только такие женщины, на которых нельзя жениться?»

То, что он почувствовал, увидев тощего рыжего воробышку на общежитской койке, можно было назвать жалостью. Сидит такая маленькая, трогательная девочка, читает Достоевского под пьяный хохот за стенкой. Глазищи большие, испуганные и при этом умные.

Ему хотелось остаться с ней, посидеть в тишине, спеть для нее – просто так, без всякой задней мысли. Она слушала его не дыша, и в глазах ее было столько восхищения, благодарности и любви... Митя почувствовал себя большим, сильным, добрым и очень понравился самому себе в роли сказочного принца.

Сначала ему захотелось просто обнять эти острые плечики, погладить взъерошенные короткие волосы, утешить и согреть незащищенное тощее существо. И только прикоснувшись к ее сжатым губам, он вдруг с удивлением обнаружил, что чувствует небывало острое желание...

Голова у Кати закружилась, она забыла обо всем на свете – о надменных одноклассниках в хабаровской школе, о суровой и холодной матери, о физике и математике. Оказалось, что она – живая, нежная, чувственная, что ее тоже могут любить, восхищаться ею, шептать в ее ухо горячими губами такие слова, от которых мурашки бегут по коже.

– Ты, оказывается, еще девочка? – услышала она жаркий шепот, который прозвучал для нее волшебной, неземной музыкой...

* * *

Это открытие сначала напугало, но через миг еще больше возбудило Митю. Женщин в его жизни было много, но до этой минуты ни для одной еще он не был первым и единственным.

В общежитии Авиационного института не было проблем с ночевкой. Тактичные Катинины соседки так и не появились в комнате до утра. А утром это была совершенно другая Катя. Только теперь стало видно, что она очень хорошенькая, женственная. Она перестала вжимать голову в плечи, ходила прямо, не боялась смотреть людям в глаза, улыбаться и вообще – жить.

Митя Синицын предложил ей выйти за него замуж всего лишь через два дня, тридцать первого декабря, когда часы пробили полночь и наступил 1991 год. Катя и не сомневалась, что они теперь уже не расстанутся. Они были как будто созданы друг для друга.

Семья Синицыных приняла Катю доброжелательно и приветливо. Сразу было видно, что эта тихая интеллигентная девочка из Хабаровска, студентка МАИ, вовсе не хищная провинциалка, охотница за московской пропиской. Она смотрела на Митю с таким обожанием, была такой скромной и воспитанной, что ни у Митиной матери, ни у сестры не возникло неприятных подозрений на ее счет.

Все было у них хорошо. Сначала снимали комнату в коммуналке, но очень скоро Митина сестра помогла с квартирой. Квартира, правда, была на окраине, в Выхине, и на первом этаже, но зато двухкомнатная и отдельная.

Катя закончила институт с красным дипломом, устроилась на работу в НИИ легкого машиностроения, младшим научным сотрудником, но очень скоро поняла, что это – не работа, а бесплатное времяпрепровождение на рабочем месте. Впрочем, карьера ее совершенно не заботила. Главным в ее жизни была семья, то есть Митя. Больше всего на свете ей хотелось родить для него ребенка. На ребенке сосредоточилось все ее существо, она не могла ни о чем другом ни думать, ни говорить. Но три беременности кончились ранними выкидышами, и врачи поставили жуткий, безнадежный, как смерть, диагноз: бесплодие.

Митя утешал, говорил, что живут семьи и без детей, можно, в конце концов, взять ребеночка из Дома малютки, сейчас столько брошенных. Но все утешения были бесполезны. Катин комплекс неполноценности, ненужности, возвращенный в ней с детства, вспыхнул с новой силой. Она стала чувствовать, что испортила Мите жизнь, ей казалось, что он не бросает ее, бесплодную и никчемную, только из жалости.

Она была противна себе самой до такой степени, что не хотела больше жить. И вот тут подоспел мальчишка-лаборант из ее НИИ, который застал ее в горьких слезах в укромном уголке пустой курилки, и предложил уколиться.

– Кольнись, полегчает, – сказал он так мягко и сочувственно, что Катя, не вдумываясь в смысл его слов, подставила руку для укола.

– Ну как, приход есть? – спросил лаборант, заглядывая ей в глаза.

– Что? – не поняла Катя.

– Ну, кайф...

– Кайф? Не знаю... Полегчало вроде, – ответила Катя неуверенно.

Она внимательно прислушалась к самой себе. И с радостным удивлением обнаружила, что безысходная тоска, давившая душу в последнее время, улетучилась. Стало легко и весело.

– А что это было? – спросила она парнишку-лаборанта.

– Морфий, – ответил он просто и буднично.

Катя не испугалась. Наркотик подействовал очень быстро. Что же страшного, если ей впервые за многие месяцы стало хорошо и спокойно? То, из-за чего она плакала всего десять минут назад, теперь казалось смешным пустяком. Никогда в жизни она еще не чувствовала такой легкости и уверенности.

– Еще захочешь, я всегда продам, сколько нужно, – заговорщицки подмигнув, сообщил парнишка...

Катя очень скоро захотела еще. Когда действие укола кончилось, ей опять стало плохо, хуже, чем раньше. Денег сначала хватало, но скоро пришлось хитростью и враньем добывать их у Мити.

Она уже стала наркоманкой, но еще не считала себя таковой. Их с Митей жизнь превратилась в вечную борьбу, он таскал ее по разным врачам, наркологам, гипнотизерам, а ей все казалось, что он хочет отнять у нее единственную и главную радость в жизни.

Катя понимала, как важно в ее ситуации не обраться знакомыми в сложном и опасном наркотическом мире. Она верила, что ее увлечение временно, что в любой момент она сумеет завязать. Завтра, через неделю, через месяц, вот кончится запас – она завяжет. Но только не сейчас, не сию минуту. Разве можно отказать себе в уколе, когда все под рукой и стоит только аккуратно ввести тонкую иголку в вену?

Потом, завтра или через месяц, она обязательно завяжет. Главное, быть разумной и осторожной, оставить себе путь для отступления, не забывать, что чем больше вокруг тебя знакомых наркоманов, тем труднее завязать. И вообще, наркотический кайф – такое тонкое и интимное дело, что лучше быть одной.

С работы Катя ушла. В последнее время перестала общаться с людьми. Наркотики покупала в известных местах: на Старом Арбате, у нескольких аптек, разбросанных по Москве, иногда у гостиниц и баров. Каждый раз старалась покупать в другом месте, чтобы не встре-

чаться с одними и теми же продавцами. Продавцы всегда норовили познакомиться, завязать прочный контакт: они угадывали в Кате человека, крепко севшего на иглу, и были заинтересованы в постоянной покупательнице. Но Катя твердо придерживалась своего принципа – знакомств не заводила.

Последнюю попытку вытащить жену Митя предпринял всего за полтора месяца до смерти. Он познакомил Катю с замечательным психотерапевтом, с доброй и внимательной женщиной Региной Валентиновной Градской...

– У тебя высокая степень привыкания, тебе будет очень тяжело завязать сразу. Надо действовать осторожно и постепенно, уменьшать дозу потихоньку, – сказала Кате Регина Валентиновна.

Другие говорили, что главное – принять твердое решение, что бросать лучше резко, сразу. Сначала будет очень худо, зато потом организм окончательно придет в себя.

И только Градская не требовала резких решений. Она была тоньше и внимательней других. Она, знаменитый, гениальный психотерапевт, возилась с Катей – да еще совершенно бесплатно. Остальные не понимали Катю, не щадили, хотели обречь на дикие мучения, на пытку абстиненции. Кому же было верить, как не Регине Валентиновне?

Глава 9

«Джон Кодни обычно вел свою будущую жертву несколько дней. Он как бы сживался с человеком, постигал его суть. По его словам, он превращался в губку, впитывающую энергию другого живого существа. В одиночной камере Гоулдвордской тюрьмы (штат Индиана) Кодни долго и с удовольствием рассказывал о каждом оттенке своих ощущений – до убийства, во время и после. Именно ему принадлежит известная фраза, мелькающая на страницах специальной литературы по судебной психиатрии: «Убивая, я побеждал смерть...»

Перед нами убийца-философ, убийца, умеющий не только мыслить абстрактно, но и формулировать свои мысли. В каждом конкретном случае Джоном Кодни руководил не порыв страсти, ненависти, не сексуальная жажда.

«Меня с раннего детства угнетало ощущение неизбежности смерти. Обычно дети не задумываются над этим, но я был несчастным исключением. Я видел перед собой не людей, а кукол. Некто жестокий и насмешливый лепил их из светящейся глины, наполнял страстями, кого-то наделял талантом, кого-то – богатством, а иных делал несчастными и уродливыми. Но каждому заранее отмерял свой срок. Каждый должен был стать тленом и грязью. Этот холодный и всемогущий всего лишь забавлялся, а люди поклонялись ему, называли Богом. Моя мать была добропорядочной католичкой, таскала меня в костел, но я с раннего детства чувствовал там только холод и смерть.

Смерть как самое неотвратимое, могучее и конкретное во вселенной, как единственная реальность притягивала меня, влекла неудержимо. Я хотел прикоснуться к ней еще и еще раз, для меня убийство было актом любви к смерти и ужаса перед ней. Корыстный убийца – это неинтересно. Это как любовь за деньги, проститутки. Смерть сама по себе столь значительна, что убивать можно только ради нее самой...»

Лена Полянская переводила последнюю часть статьи психолога Дэвида Кроуэла «Жестокость жертвы» и думала о том, что стоит, наверное, немного сократить текст за счет кровавых подробностей. Она прекрасно знала, что читатель очень любит такие подробности и многие будут читать эту статью не ради психологии, а ради патологии, то есть ждать от текста именно кровушки и душераздирающих сцен. Но Лене от этих подробностей уже слегка подташнивало. Автор ими явно увлекался, сознавая, что именно они делают из научной статьи беллетристику. Он не мог положиться лишь на интеллект и здоровое любопытство читателя, ему хотелось подстраховаться беспроигрышными «ужастиками».

Лена понимала, что это правильно. Даже элитарный журнал «Нью-Йоркер» вряд ли опубликовал бы статью, состоящую из одних только психологических наблюдений и обобщений, пусть интересных, свежих, живо и ярко изложенных, но достаточно абстрактных. И уж совсем глупо ожидать, что такая вот чистая психология увлечет читателей журнала «Смарт». Вот сократишь хотя бы половину «ужастиков», а главный редактор спросит: «Подробности-то кровавые куда дела? Обижаешь читателя, Елена Николаевна». И будет прав. Скучно читателю без кровушки, неинтересно.

В соседней комнате проснулась Лиза и громко позвала:

– Мапочка!

Лена обрадовалась, что можно отвлечься от работы и отдохнуть от откровений всех этих философствующих джеков-потрошителей.

Когда она кормила Лизу куриной котлетой с картофельным пюре и читала ей наизусть стихотворение о королевском бутерброде, раздался звонок в дверь.

– «Придворная корова сказала: в чем же дело?» – успела произнести Лена, отправляя ложку пюре Лизе в рот.

Подойдя к двери, она взглянула в глазок и увидела пожилую незнакомую женщину, расстегнутое пальто было накинуто поверх белого халата, на шее висел фонендоскоп.

– Здравствуйте, я из Филатовской больницы, – послышался голос за дверью, – мы проводим неделю профилактического осмотра детишек до трех лет перед очередной прививочной кампанией.

Поликлиника при Филатовской больнице была их районной, всякие анкетирования и профилактические осмотры маленьких детей действительно проводились там довольно часто, поэтому Лена спокойно открыла дверь.

У женщины было усталое милое лицо – типичное лицо детского участкового доктора, очки в дешевой пластмассовой оправе, на голове, под лиловой мохеровой шапочкой, – стандартный рыжий перманент, сделанный в дешевой парикмахерской. На лице ее был небрежный макияж, какой накладывают в спешке каждый день перед уходом на работу такие вот немолодые, небогатые женщины, и движет ими вовсе не желание стать красивее, а просто многолетняя привычка подкрашивать губы и пудрить нос, выходя из дома на люди.

– У нас вообще-то все прививки сделаны, – сообщила Лена, помогая женщине снять пальто.

– Мы собираемся ввести сейчас дополнительную, противогриппозную, – улыбнулась женщина, – не для грудничков, конечно, но после года. Карта у вас дома или в регистратуре?

– В регистратуре. Вы простите, мы сейчас обедаем.

– Ничего, вы доедайте спокойно, я подожду.

Женщина прошла вслед за Леной в кухню.

– Здравствуй, Лизонька, – сказала она, – что ты кушаешь?

– Картошку и котлетку, – серьезно сообщила Лиза, сидевшая за столом в своем высоком стульчике.

– Надо же, как она у вас хорошо говорит. Просто блеск для ее возраста. Ей ведь еще не исполнилось двух лет?

– Как раз пять дней назад исполнилось. Вы присаживайтесь. Может, чайку?

– Спасибо, не откажусь. Только попозже. Вы сейчас доедайте, потом я Лизоньку посмотрю, а потом с удовольствием выпью чаю.

Лиза доела очень быстро, даже «Королевский бутерброд» не пришлось дочитывать. Проходя по коридору в детскую, доктор заметила сквозь дверной проем спальни светящийся экран компьютера и спросила:

– Неужели вы умудряетесь работать при таком крошечном ребенке?

– Приходится, – пожала плечами Лена.

– Что, материальные проблемы?

– Скорее профессиональные.

– Понимаю, вы работаете в частной фирме, декретов там нет, отпуска без содержания тоже. – Доктор покачала головой. – Да, ничего не поделаешь, как говорится: за что боролись, на то и напоролись. Не высыпаетесь, наверное?

– Бывает, – улыбнулась Лена.

Осматривая Лизу, слушая ее, заглядывая в горлышко, доктор то и дело бросала какой-нибудь вопрос о Лениной работе и личной жизни. Это выходило у нее тактично и ненавязчиво.

– А в какой фирме вы работаете, если не секрет?

– Я заведу отделом в журнале «Смарт».

– О, я знаю этот журнал... Так, сколько у нас зубиков?

Она посчитала Лизины зубки, записала что-то в свой блокнот, потом опять вернулась к Лениной работе:

– А каким отделом вы заведуете?

– Литературы и искусства... Вы знаете, доктор, у нас иногда бывают запоры, я не могу понять отчего?

– Размочите несколько черносливин, подержите сутки в холодной кипяченой водичке и давайте по чайной ложке вместе с мякотью три раза в день, перед едой. Но если вас это сильно беспокоит, сдайте анализ на дисбактериоз. Кстати, вам в любом случае надо это сделать, есть небольшой диатезик. В общем, ничего страшного, но запускать не стоит.

– Спасибо вам большое.

Лена обратила внимание, что у педиатра длинные острые ногти, покрытые бледно-телесным лаком. Это показалось немного странным – обычно врачи и медсестры, имеющие дело с маленькими детьми, коротко стригут ногти, чтобы случайно не поцарапать ребенка. Осмотрев Лизу, доктор с вежливой и виноватой улыбкой сама напомнила про обещанный чай.

– А кофе хотите? – предложила Лена.

Она обрадовалась возможности спокойно, без спешки побеседовать с толковым детским врачом. В поликлинику они с Лизой ходили редко, домой вызывали врача еще реже.

Участковый терапевт Светлана Игоревна была милейшим человеком и грамотным доктором, но всегда спешила. От чая-кофе вежливо отказывалась, задерживать ее лишними вопросами и разговорами было неловко, у нее и так голова шла кругом от десяти – пятнадцати вызовов в день. А в поликлинике к ней всегда была очередь.

– Простите, я забыла спросить, как ваше имя-отчество? – Лена налила крепкий кофе доктору и себе.

– Валентина Юрьевна, – представилась доктор. – У вас отличный кофе. Скажите, а с кем вы оставляете Лизу, когда уходите в редакцию?

– С соседкой. Нам очень повезло, она одинокая пожилая женщина, сидит с ребенком за скромную плату.

– Да, – согласилась Валентина Юрьевна, – это большая удача. Сейчас сложно найти надежную недорогую няню. Про ясли, конечно, и говорить нечего. Они там болеют без конца. Дома вы сидите со здоровым ребенком, а стоит отдать в ясли – придется сидеть с больным. Если есть хоть малейшая возможность, лучше держать ребенка дома до школы. Мудрые родители это понимают, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. – Доктор грустно улыбнулась и отхлебнула кофе. – А как часто вам приходится бывать на службе?

– У меня два присутственных дня в неделю, в основном работаю дома, в редакции мне идут навстречу. Скажите, Валентина Юрьевна, как быть, когда ребенок долго не может уснуть?

– Ваша Лиза – очень спокойная девочка, неужели у нее с этим проблемы?

– Иногда бывают. Мне кажется, мы ее слишком балуем, позволяем сидеть с нами допоздна.

– Не переживайте, ребенок всегда возьмет свое. Недоел и недоспал сейчас – наверстает завтра. У них, в отличие от нас, мудрый организм. А что касается баловства – когда же их баловать, как не в этом возрасте? Потом начнется школа, уроки, обязанности... Скажите, Леночка, а сами что-нибудь пишете для журнала?

– Иногда. Но в основном я работаю с авторами, перевожу.

Лену слегка удивляло, но не настораживало такое любопытство со стороны незнакомого человека, детского врача. Журнал «Смарт» был известным и популярным. Если эта дама среднего возраста заглядывала в пару-тройку номеров, ей, разумеется, интересно поболтать с заведующей отделом за чашкой кофе, в домашней обстановке.

Немного странно было то, что она, в отличие от своих коллег, вовсе не спешила, а ведь всякие анкетирования и профилактические осмотры предполагают спешку, беготню по разным адресам, маленьких детей много, а врачей и сестер всегда не хватает, даже в престижной Филатовской поликлинике.

Впрочем, человек мог устать от этой беготни, и далеко не в каждом доме предложат чашку кофе.

– А сейчас над чем вы работаете, если не секрет? – спросила доктор.

– Сейчас перевожу статью одного модного американского психолога.

– Надо же, интересно, я, честно говоря, очень увлекаюсь психологией, особенно современной американской школой. Кого именно вы переводите?

– Есть такой Дэвид Кроуэл, он в основном занимается криминальными проблемами. В частности, психологией серийных убийц.

– Да что вы говорите! Как интересно! – Докторша почему-то засмеялась, но тут же ее лицо стало серьезным. – А я, признаться, совсем недавно увлеклась психологией самоубийц. Знаете, меня подтолкнул к этому один ужасный случай. Молодая женщина, мать двоих детей, взяла и наложила на себя руки, просто так, ни с того ни с сего. Все у нее в жизни было отлично, муж в ней души не чаял, дети здоровые, достаток в семье, а она взяла и повесилась.

Лене стало не по себе. У нее все это время не выходил из головы Митя Синицын, который тоже ни с того ни с сего взял и повесился...

– Да, в жизни всякое бывает, – быстро произнесла она. – Еще кофе?

На кухню с плачем прибежала Лиза.

– Мамочка, у куклы голова сломалась, а синий мячик спрятался, – трагически сообщила она.

Лена отправилась в детскую.

Она ожидала, что докторша откажется от новой порции кофе и скажет: «Нет, спасибо, мне пора», но вместо этого она пошла вслед за Леной, поучаствовала в починке обезглавленного резинового пупса и в поисках мячика, закатившегося глубоко под диван. Потом вернулась на кухню, от кофе отказываться не собиралась, выпила еще две чашки и никак не хотела менять тему разговора, все время возвращалась к психологии самоубийц.

Лена давно была не рада своему гостеприимству, но ведь не выставишь теперь человека за дверь. В итоге докторша просидела часа полтора, наконец сама как бы спохватилась:

– Ох, простите, я вас заболтала, но с вами так интересно разговаривать...

После ее ухода у Лены остался странный, неприятный осадок. Она не могла понять, в чем дело, просто на душе стало как-то тоскливо и муторно, все валилось из рук, даже голова разболелась.

Лиза спокойно играла, что-то рассказывала самой себе и своим игрушкам. Вполне можно было вернуться к переводу и поработать еще минут сорок. Но, усевшись за компьютер, Лена обнаружила, что мысли путаются и расползаются в разные стороны, самые простые слова вылетают из головы, от мелких букв на экране рябит в глазах и работать нет сил. Она выключила компьютер, вымыла посуду, умудрившись разбить свою любимую кофейную чашку.

«Да что со мной? – подумала она раздраженно. – Может, надо просто выспаться. Наверное, я переоцениваю свои возможности. Нельзя так мало спать. Это сказывается рано или поздно – голова болит, чашки бьются, милые докторши вызывают незаслуженное отвращение... Так нельзя. Надо сейчас погулять с Лизонькой и лечь сегодня пораньше, плюнуть на работу и выспаться наконец».

Она одела Лизу и решила дойти до Патриарших, там хоть какая-то иллюзия свежего воздуха и дорожки более или менее чистые. Идти было недалеко, правда, придется тащить коляску вниз и вверх по ступенькам подземного перехода через Садовое кольцо. Но Лена привыкла, иногда кто-нибудь помогал.

– Это была злая тетя, – неожиданно сообщила Лиза, когда Лена мужественно приподняла и понесла вниз по ступенькам прогулочную коляску.

К вечеру подморозило, и ступеньки стали скользкими. Но Лена имела солидный опыт в перетаскивании коляски. Она ступала медленно и осторожно.

– Почему злая, Лизонька? – поинтересовалась она, благополучно пройдя скользкую лестницу и с облегчением ставя колеса коляски на гладкий пол подземного перехода.

– Плохая, – мрачно сказала Лиза, – злая тетя.

Навстречу шел мальчик лет двенадцати и вел на поводке огромного черного дога в наморднике. Лиза тотчас вскочила в коляску и радостно закричала:

– Какая собака! Ой, какая большая собака! Зачем у нее ботинок на лице?

– Это намордник, – стала объяснять Лена, – надевают большим собакам на всякий случай. Вдруг собаке что-то не понравится, она захочет укусить...

– А ей не больно? – озабоченно поинтересовалась Лиза.

Она очень любила собак. Старенькая такса Пиня умерла всего два месяца назад, Лиза помнила старика до сих пор, хотя у таких маленьких детей короткая память. Она, конечно, не понимала, что такое «умер», ей сказали, будто Пиня уехал в сказочную собачью страну, в общем, наплели что-то...

Теперь все шоколадные таксы, встречавшиеся на улице, были для нее Пинями, но и на больших собак она реагировала очень бурно. Дог в наморднике оказался, разумеется, интересней «злой тети». Он был здесь и сейчас, а тетя ушла, исчезла, и Лиза быстро забыла о ней. А Лена была рада не возвращаться больше к этой теме.

Подниматься вверх с коляской было не так опасно, как спускаться, меньше шансов поскользнуться на замерзших ступенях, зато значительно тяжелей. Но Лене повезло, ей помог какой-то пожилой мужчина. Он держал коляску с одной стороны, Лена с другой.

– Ой, да ведь это Лизонька Кротова! – услышала Лена голос за спиной.

Коляска была уже наверху, а рядом с мужчиной возникла пожилая женщина. Лена узнала участкового врача Светлану Игоревну. Мужчина, который помог нести коляску, был ее мужем.

Они жили неподалеку от Патриарших, и Лена проводила их до дома.

– К нам сегодня приходили из поликлиники, у вас сейчас какой-то профилактический осмотр, – сообщила Лена.

– У нас? Осмотр? – удивилась Светлана Игоревна. – Да что вы! Сейчас ничего такого нет... А кто именно к вам приходил? Вы фамилию спросили?

Лена почувствовала неприятный холод в животе. Она вкратце рассказала о сегодняшнем визите, надеясь, что он все-таки мог иметь отношение к поликлинике.

– Как, вы сказали, зовут эту женщину? Валентина Юрьевна? – тревожно спросила Светлана Игоревна.

Лена кивнула.

– И она просидела у вас почти два часа? А вы проверили, в доме ничего не пропало?

– Честно говоря, мне это в голову не пришло... – растерянно призналась Лена. – Она была в белом халате, с фонендоскопом, ребенка осматривала вполне профессионально...

– Нельзя быть такой доверчивой в наше время, – покачал головой муж Светланы Игоревны, – сейчас столько квартирных краж, это могла быть наводчица, да мало ли? Ведь вы не вызывали врача и пустили в дом постороннего человека!

Холод в животе не проходил, к нему прибавилась отвратительная слабость – до дрожи в коленках. Возвращаясь домой, Лена вспоминала все подробности разговора со «злой тетей», и в голове быстро выстроилась странная цепочка, которая шла от неизвестной женщины, выдававшей себя за детского врача, к суициду, а от суицида – к Мите Синецкину.

Если бы Сережа был дома, было бы не так страшно, но он вернется не скоро. Лена пыталась уговорить себя, что никакой связи между фальшивой докторшей и самоубийством Мити нет и быть не может. Все это – чистая фантазия, и докторша действительно наводчица. Надо обязательно проверить, не пропало ли что-нибудь в доме, и позвонить Мишане Сичкину, посоветоваться, как обезопасить себя в такой ситуации...

Но странные, однако, пошли наводчики – не жалеют времени, профессионально осматривают ребенка, дают разумные и дельные советы, а потом рассуждают о психологии суицидентов. «Впрочем, откуда мне знать, как ведут себя наводчики? К счастью, у меня пока что не было опыта общения с ними», – усмехнулась про себя Лена.

Оттого, что она позволила неизвестно кому не только войти в дом, но и прикоснуться к ребенку, было особенно противно.

Глава 10

– Надо уметь радоваться жизни, солнышку, первому снегу, весенней травке, – говорила Регине мама.

Мама была тихой, интеллигентной, некрасивой. Одинокая библиотечка, старая дева, на сорок первом году жизни отдалась подвыпившему электрику Кирилке, разбитному тридцатилетнему мужичонке, который только что вернулся с фронта.

Он пришел в библиотеку морозным январским вечером чинить проводку. На улице было минус сорок. Известно, какие лютые зимы бывают в Сибири... От жарко натопленной русской печки по читальному залу разливалось сонное, томное тепло. Все ушли домой, к своим семьям. А Вале Градской спешить было некуда. Ее попросили дожидаться припозднившегося электрика.

Этот жалкий демобилизованный солдатик с картофельно-толстым носом, скошенным подбородком, пошлой ухмылочкой на губах стал случайным отцом Регины Валентиновны Градской.

Все случилось быстро и грубо, на истертом дореволюционном диване, в читальном зале, под большими портретами классиков русской литературы.

– Зачем ты мне это рассказала? – спрашивала маму Регина в свои восемнадцать лет. – Неужели ты не могла придумать какую-нибудь красивую романтическую историю про погибшего во льдах героя-полярника, про широкоплечего фронтовика с орденами на груди? Зачем мне знать, что мой отец – спившийся убудок Кирилка.

– Он воевал... – отвечала мама с виноватой улыбкой.

– Он жалкий убудок! – кричала Регина. – Он урод! От таких нельзя рожать!

– Шел январь сорок шестого, Регишенька. Какие уж там герои-полярники? На десять женщин – один мужчина. Мне было сорок. Я была одна на свете, очень хотелось ребенка. Это был мой последний шанс.

– Лучше бы ты мне соврала.

– Я не могу обманывать, ты же знаешь.

Регина знала. И тихо ненавидела эту беспомощную, виноватую улыбку и патологическую честность.

Мама никогда не врала другим. Только себе. Она постоянно тешила себя приторно-сладкими иллюзиями, существовала в каком-то идеальном, выдуманном мире.

– Наташа Ростова вовсе не была красавицей, – умильно твердила она дочери, – вот смотри, как описывает свою любимую героиню Лев Николаевич. – И она, прикрыв глаза, зачитывала наизусть большие куски из «Войны и мира». – А княжна Марья? Этот образ – настоящий гимн духовной красоте. Вот послушай! – Опять следовал кусок из классического романа. – И пушкинская Татьяна не блистала красотой. – Длинные цитаты из «Евгения Онегина», тоже наизусть, с прикрытыми глазами. – Пойми, Регишенька, переживать из-за того, что у тебя не совсем правильные черты лица, – глупо и скучно. От внешности ничего не зависит в жизни. Главное – духовная красота, доброта, ум...

Регина уже в двенадцатилетнем возрасте знала, что это бредни. Красотке, даже если она глупа до тошноты, все равно будет уютней в этом мире, чем умнице дурнушке. Никакая духовная красота и доброта, никакой ум не помогут дурнушке. Чем старше Регина становилась, тем глубже верила в это.

Она всю жизнь зависела от собственной внешности. Все в ее душе вертелось вокруг этого главного стержня. Регина Градская была убеждена, что некрасивая женщина не может быть успешна и счастлива. Достаточно лишь одного взгляда в случайное зеркало, чтобы стать несчастной, чтобы любая победа испарилась как дым. Да и не бывает побед у некрасивых.

Ей было четырнадцать, когда мама, испуганная грохотом и звоном, вбежала в комнату из кухни и застала дочь, которая топтала осколки большого разбитого зеркала, сосредоточенно и тихо повторяя:

– Ненавижу! Ненавижу!

Сжатые кулаки были в крови.

– Регишенька, доченька, что с тобой?

– Уйди! Ненавижу! Этот нос, эти глаза, эти зубы... Ненавижу!

На следующий день мама поволокла ее за руку к невропатологу.

– Переходный возраст, – сказала невропатолог и прописала валериановые капли. – Поверь мне, деточка, внешность – не главное в жизни. В четырнадцать лет все кажутся себе гадкими утятами. К шестнадцати ты расцветешь, вот увидишь.

«К шестнадцати я сойду с ума», – подумала Регина.

В платяном шкафу на месте разбитого зеркала так и осталась голая шершавая фанера.

Регина всегда хорошо училась, ей все давалось легко. Еще в школе выучила три языка: английский, немецкий, французский – сама, без учителей и репетиторов, по старым гимназическим учебникам, хранившимся в запасниках городской библиотеки. С первой попытки, без всякого блата, поступила в Московский мединститут.

Многие ее сокурсники бледнели и даже падали в обморок на первых занятиях по анатомии, у цинковых столов, на которых лежали трупы. Регина Градская спокойно бралась за скальпель, не испытывая при этом ни ужаса, ни безразличия – ничего, кроме холодного любопытства.

Нельзя учить медицину, не препарировав трупы. Но сначала это трудно, страшно. Живому человеку свойственно бояться смерти. А что может напоминать о смерти красноречивей и грубей, чем распластанное, распоротое тело на цинковом столе институтского морга?

Все студенты-медики привыкают к анатомичке, но потом, не сразу. Регине Градской не надо было привыкать.

Хладнокровию молчаливой, безнадежно-некрасивой первокурсницы из Тобольска поражались даже выдавшие всякое на своем веку преподаватели. А уж об однокашниках и говорить нечего. Соседки по комнате в институтском общежитии сторонились ее, как будто даже побаивались. Никто ни разу не одолжил у нее ни сахара, ни соли, ни куска хлеба.

В комнате жили пять девочек, и почти все у них было общим. Если одна из соседок отправлялась на важное свидание, то ее экипировала вся комната – кто-то давал туфли, кто-то юбку. Регина никогда не давала своего и не брала чужого. На свидания она не бегала, в быту была аккуратна и экономна, умудрялась укладываться в скудную стипендию. Правда, с первого по шестой курс она получала повышенную стипендию, но все равно это были копейки.

Все ее вещи были скрупулезно разложены по местам, всему она вела строжайший учет – даже тетрадным страницам и чернилам в самописке.

Соседки по комнате любили «со стипушки» купить себе в Елисеевском гастрономе чего-нибудь вкусненького. Тогда, в конце шестидесятых, еще свободно продавалась икра, севрюга, сырокопченая колбаса. Регина никогда не позволяла себе таких излишеств, но не потому, что ей не хотелось побаловать себя. Просто на такое баловство уходила половина стипендии. Если другая девочка оставалась без денег, ее подкармливали соседки. А Регина с самого начала поставила себя так, что ни у кого не возникало желания ее подкормить.

Все сессии она сдавала на «отлично». За шесть лет учебы ни разу не заболела, не пропустила ни одного занятия. Спала по четыре часа в сутки, прочитала практически все, что имелось в богатой библиотеке института. Особенно зачитывалась книгами по психиатрии.

Больше всего на свете Регина Градская боялась сойти с ума. Она понимала, что ее заикленность на собственной внешности граничит с патологией. Граница эта настолько зыбкая, что в любой момент глубокий комплекс неполноценности может перейти в заболевание.

Трудно не сойти с ума, когда ненавидишь себя, когда твое лицо в зеркале кажется кошмарным, омерзительным. И этот кошмар всегда с тобой. Собственное безобразие становится сверхценной идеей, потом перерастает в бред.

Чем глубже изучала Регина психиатрию, тем ясней понимала: четкой грани между нормой и патологией нет. При всей строгости и конкретности догматов официальной медицины лечить душевные недуги никто не умеет. Ничего нового, кроме аминазина и галоперидола, не придумали. А эти препараты действуют на человеческий организм значительно страшнее, чем любые смирительные рубашки, решетки, электрошок.

Суть психиатрии осталась такой же, как и сто, и двести лет назад. Врач видел свою задачу не в том, чтобы вылечить, а в том, чтобы сделать душевнобольного безопасным и беспомощным.

Регина была убеждена: человеческую душу надо лечить не химией, а чем-то совсем другим. Она стала изучать экстрасенсорику и гипноз, прочитала об этом все, что возможно было прочитать в те годы. Она училась лечить голосом, руками, взглядом. Иногда у нее возникало ощущение, что она проникает в мозг и в душу человека, видит суть душевного недуга...

Контингент больных в Институте судебной психиатрии имени Сербского, куда она попала молодым ординатором, был особый. Перед Региной проходили один за другим убийцы, насильники, садисты. Работая с этими людьми, осторожно пробуя на них свои экстрасенсорные и гипнотические возможности, Регина обнаружила, что кроме примитивных олигофренов, сластолюбивых озлобленных импотентов, взбесившихся алкоголиков, попадаются среди этой публики такие яркие, сильные и одаренные личности, каких нет среди прочих, нормальных, людей.

Больше всего ее интересовали серийные убийцы, те из них, кто был абсолютно вменяем, имел высшее образование и весьма высокий интеллектуальный уровень. Такие отдавали себе полный отчет в своих действиях, убивали бескорыстно, не ради материальной выгоды, а ради решения своих глубоких внутренних проблем. Их было очень мало среди обычных убийц-ублюдков. Их было сложно вычислить и поймать. Они казались Регине гениями злодейства – живым опровержением известной пушкинской формулы: «Гений и злодейство – несовместимы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.